

ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

ISSN 0207—4001

3

ШОСТАКОВИЧ ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ПОДЛИННЫЙ

ТРОЦКИЯ О ГЕРМАНО-СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

90

ДАУГАВА



**Никлавс Струнке.**  
**Автопортрет**  
**с Арлекином.**  
Фото  
Мары Брашмане

# Даугава

МАРТ (153)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

## В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- 3** *Аншлавс Эглитис*  
**Охотники за невестами.** Роман. Продолжение
- 51** *Аманда Айзпуриете*  
**После заката.** Стихи
- 54** *Калика Перехожий*  
**Удильщик на Двине.** Продолжение
- 65** *Елена Саран*  
**Дневник.** Стихи
- 69** *Нина Горланова*  
**Покаянные дни, или В ожидании конца света**
- Литературное наследство
- 84** *Аспазия*  
**Стихотворения**
- Публицистика
- 88** *Даниил Житомирский*  
**Шостакович официальный и подлинный.** Воспоминания, материалы и наблюдения

1990

3

(см. на обороте)

**В Н О М Е Р Е** (окончание):

- 100** *Виктор Федосеев*  
**Бог, религия, человек**
- 111** *Лев Троцкий*  
**Германо-советский союз**  
Культурология
- 114** *Яков Друскин*  
**Сны.** Предисловие Л. Друскиной
- 121** *Вадим Руднев*  
**Культура и сон**  
Искусство
- 125** **Никлавс Струнке**
- 126** **Почта «Даугавы»**

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

---

## ОХОТНИКИ ЗА НЕВЕСТАМИ

Р о м а н

Перевел Леон ГВИН

4

Страница, где дум толкотня,  
Девиче одна трескотня.

Некий любитель

Эпалт, в огорчении от катастрофы с Тюрзенем, раздраженный самоуправством Гризли, несколько дней не показывался у Сургениеков. Наконец, однажды заявился под занавес, когда общество, покончив с трапезой и разбившись на кружки, предавалось картам и сплетням. Напустив на себя невозмутимый вид, сунув руки в карманы, он рассеянно переходил от одного кружка к другому. Гризли жестами приглашала его присоединиться к честной компании, но он словно бы и не замечал ее стараний.

Все как обычно. Дрыгалка у ног Гризли, Задохлик возле Майор, прочие кубезельцы при своих дамах. Мир и покой снова воцарились здесь. Только Дагне в одиночестве дремала на софе, забившись в самый угол. Внезапно Эпалта обуяло желание прикантоваться к этой всеми забытой наследнице. К тому же не мешает бросить вызов Гризли.

Чего же, в сущности, недостает этой Дагне Сургениек? Чересчур массивна, как, впрочем, и сестра и мать, это, очевидно, отличительная черта всех женщин семейства. Однако в ее полноте есть что-то обволакивающее, домашнее. Но ужасная флегма — пожалуй, будет копией матери, и скоро. Еще пара лет безмятежной жизни, и сделается бесформенной, как огромная амеба. Эпалт присел на краешек дивана. Дагне одарила его сонным взглядом — скорее подозрительным, чем удивленным.

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2.

«Не присоединиться ли нам к карточной партии?» — проворковал он, аки горлица, теплым грудным голосом — при известном старании ему удавался этот ласковый тон.

«Я игр не знаю».

«Ничего, научимся раз и два».

«Я тупая».

«А я великолепный учитель».

«Со мной уже пробовали и так, и этак».

«Может, потанцуем? Поставим вон в том углу патефон».

«Не трудитесь, не умею».

«Что же вы делаете на вечеринках?»

«А я на них не хожу».

«И на вечера в «Кубезелию» тоже?»

«Достаточно, что сестра ходит. Кому-то надо быть дома».

«У вас дома народу хватает, обойдутся».

«Другие — да, а я — нет».

«Чем же вы занимаетесь?»

«Сплю. Ведь этого никто за меня не сделает».

Эпалт внимательно оглядел Дагне. Она и впрямь подремывала, безвольно опустив руки. Сонная тетеря. Но глаза отнюдь не затуманенные, и взгляд жесткий, без малого злой. — Мы делаем то, чего от нас ждут, мы таковы, какими нас хотят видеть, — подумал Эпалт.

Все на нее махнули рукой, и от расстройства Дагне ушла в упрямство, как в скорлупу, выставляя напоказ свою флегматичность. Буйную старшую сестру все одно не переплюнуть. Смех и немолчная болтовня Гризельды по-прежнему гремели во всех углах. В промежутках она то и дело командовала Душелисом:

«Дрыгалка, одолжи Задохлику два лата, мы из него все уже вытрясли! Дрыгалка, принеси из столовой шоколад! Дрыгалка, подай новую бридж-сумочку! Дрыгалка, скажи господину Эпалту, что он испортит мою сестру!»

Душелис здесь, Душелис там. Услышав последнее распоряжение, он, как автомат, повернулся к Эпалту и уже раскрыл было рот, но осекся, под общий смех публики.

«Бедняга Душелис, — прошептал Эпалт, — ваша сестра теряет чувство меры. Это уже не остроумно, а жестоко».

Дагне промолчала. Ей не хотелось журить сестру, хотя она и завидовала дерзости и живости, отодвигавшей в тень ее самое. Но честь семьи незыблема . . . Что это? Эпалт вдруг вспомнил давешний разговор с Шетуриным — Дагне, мол, лучше всего чувствует себя на селе.

«Говорят, у вас в «Качкарах» разводят фазанов. Неужели правда?»

Дагне оживилась.

«А что в этом такого?»

«Вырастить фазана совсем не просто».

«Сами растут».

Усилием воли Эпалт вызвал в памяти все, что когда-либо слышал или читал о фазанах.

«Ну да, покупают обыкновенных красно-бурых, подсыпают ячменя и думают, что фазанерия готова. А попробуйте вырастить какой-нибудь деликатный вид, скажем, серебристых, королевских, управьтесь с цыплятами, которые гибнут от одного дуновения ветерка, от одной капельки росы . . .»

«Нынче летом я сама вырастила два выводка японских зеленых, следующим возьмусь за китайских дьекки и алмазных, если хотите знать. А ячмень фазанам не скармливают, им дают гречиху с тысячелистником, измельченную брюкву и топинамбур. Брат предпочитает богатую охоту, но я не позволю . . .»

Эпалт расположился поудобнее. Кажется, тема найдена. Покончив с фазанами, они переключились на цесарок, голубей, кроликов, выращивание шампиньонов, горчичные поля, плантации турнепса, квашение, дрожжевание, соленья, варенья . . . При упоминании мармелада из сердечек райских яблок она сладко облизнулась и лукаво подмигнула собеседнику.

Дагне деловито рассуждала о спарже и козельцах — и пальцы ее растопыривались, как садовые грабельки, и шевелились, как на прополке; она обсасывала проблему крыжовника, из которого выходит отменное вино, — и хватала себя за большой палец, подавлявая его, как ягоду; стоило ей упомянуть йоркширских боровков, как она машинально похлопывала ладонью по диванному валику, словно это был лоснящийся хребет беконного подсвинка.

Эпалту, закоренелому горожанину, горожанину до мозга слуховых косточек, нравилось рассматривать все явления в плоскости теоретической. Человек книжный, он порой воспринимал жизнь как серое древо вечнозеленой теории. Практическая проверка доказанных силою разума положений и выкладок казалась совершенно излишней и уж во всяком случае скучной. Его изумляло, как это человек может быть с головой погружен в практические дела, воспринимать вещи осязаемо, быть привязан к ним тысящей нитей; вот хозяйственная Дагне — что за странные речи и повадки! Чем больше он наблюдал за нею, тем отчетливей понимал, что в сущности она приятная, кроткая девушка, бесхитростное создание. Естественность? Об этом человеческом качестве Эпалт отзывался со смехом и презрением и чурался его, как черт ладана. Все естественное — наивно. А наивность для Эпалта, точно так же как и для кубезельцев, есть смертный грех, единственный настоящий порок. Но между тем, и это нельзя не признать, простодушие и естественное поведение женщинам очень даже к лицу, в пику всей этой утонченности, экстравагантности и жеманству. Пресыщенностью невольно восхищаешься, а естественность трогает и — погруженный в философские раздумья Эпалт покосился на двери кабинета — подчас даже пугает.

Гризли желала, чтобы решительно все увивались вокруг нее одной, и терпеть не могла уединившихся парочек. Она все чаще бросала мрачные взгляды в тот угол, где примостились Эпалт и Дагне, все настырнее шпыняла Дрыгалку и с размаху била старшей картой младшую, как заядлые картежники в какой-нибудь голландской таверне на картине Браувера. Наконец ее прорвало:

«Послушайте, Ромео и Джульетта! Ваше шушуканье действует нам на нервы!».

«Мы никому не льстим, и нам ни к чему повышать голос», — откликнулся Эпалт.

«Не льстите? Отчего же вы так раскраснелись?»

«Загорел в лучах вашего остроумия».

«По-моему, сейчас вы нежитесь в других лучах. Послушай, Дагне, чего-чего, а такой прыти я от тебя не ожидала».

«Гризли!» — с упреком воскликнула Дагне.

«Гризли?! И ты туда же? Быстро же вы спелись в темном углу».

«Нет такой мглы, сквозь которую не пробился бы ваш рентгеновский взгляд», — сказал Эпалт.

«Да, я все вижу».

«Значит, все происходит с вашего ведома».

«Разумеется, я вас благословляю».

«Спасибо, а мы вас».

«Меня? С какой стати?»

«С той статью, что налево», — отважно рискнул Эпалт: по левую руку от Гризельды сидел Душелис. Эффект разорвавшейся бомбы. Покраснев как пион, Гризли вскочила на ноги. Глаза ее стали как щелочки, и, словно в трещинах раскаленной плиты, в них полыхнуло пламя. На мгновение она лишилась дара речи, глотая ртом воздух и задыхаясь от гнева, еще секунду-другую не могла найти подходящих слов и наконец выдохнула еле слышно:

«Повторите, что вы сказали», — но сдавленный голос колоколом прозвенел в мертвенной тишине зала. Эпалт попытался заглушить гулкое эхо вежливо-равнодушной интонацией:

«К чему повторять? Это может повредить вашему подсознанию; вы же знакомы с принципом доктора Куэ . . .» — Эпалт почувствовал, что летит в тартарары.

«У приличных людей не бывает подсознания».

«Чем же они тогда оправдывают свои страсти?»

Гризли круто повернулась и опрометью выбежала из гостиной. Душелис покачнулся и, болтая руками так, будто это были вальки в упряжи, поплелся за нею следом.

Минуту спустя вышли и остальные — поглядеть, что с молодой хозяйкой. Эпалт и Дагне остались одни. Какое-то время сидели молча.

«Мне, пожалуй, пора?» — произнес Эпалт, привстав.

«Вам не следовало говорить о . . . господине Душелисе, она этого не любит. Однако попытайтесь помириться с сестрой. На самом деле она вам благоволит. Почему вы вечно с ней спорите?»

«Так уж повелось», — пробормотал Эпалт, простился с Дагне и пошел домой.

\*

Эпалт служил в одной из городских муниципальных библиотек в Старой Риге. Библиотекой заведовал его дядя со стороны отца, и потому племянник устроился здесь со всеми удобствами. Посетителей не обслуживал, а положенные часы коротал в дальнем углу за столом, со всех сторон огражденном стеллажами. Выполнял он работу по мелочам, большей частью следил за книжными новинками, ибо дядя, к литературе касательства не имевший, получил должность заботами партии и занимался только хозяйственными вопросами. Место устраивало Эпалта еще и потому, что работа была двухсменная, день утром, день вечером. Обязанностей у помощника заведующего было немного, и Эпалт предавался чтению литературы по собственному выбору или рылся в архивных материалах и в старинных не востребуемых томах. Больше всего он интересовался искусством книгопечатания и переплета: окладом и оформлением книги, начиная с переплетной кожи и пергаменов с золотыми и серебряными узорами, с мраморированными или расписными форзацами, роскошными многословными титулами, посвящениями, предисловиями, благодарностями и кончая заключениями



с моралью, обращением к читателю, библиографическими примечаниями и перечнем источников. Эпалт рассчитывал со временем написать работу по истории латышской книги, пробивавшейся сквозь толщу различных направлений и чужеродных влияний. Материала у него было собрано предостаточно. Но следовало поторопиться, так как большинство латышских книг было напечатано на дрянной бумаге, быстро желтевшей, выцветшей и истлевающей; скоро от них останутся одни воспоминания, особенно от послевоенных изданий, к которым приложили руку едва ли не все наши художники-оформители.

Свое занятие, обеспечивавшее весьма скромный достаток, Эпалт тщательно скрывал ото всех, как и то, что касалось его домашних дел и родителей. Они жили в Дубулты; отец Эпалта был отставным чиновником. Старший брат, моряк, скитаясь по свету, давным-давно осел в Англии, где работал на фабрике аэропланов.

Эпалт перебирал в уме вчерашнюю ссору с Гризли, как вдруг перед ним выросла ухмыляющаяся физиономия Иманта-соглыдатая. Помощник заведующего не на шутку перепугался. Правилами входить посетителям библиотеки в святая святых учреждения воспрещалось, однако юный Сургениек, сумев улестить библиотечных барышень, все же проник в самое чрево книжного собрания.

«Ха, не ждали? — расплылся в улыбке юный плут, и мохнатые брови, совершая на грозно наморщенном лбу загадочные маневры, взлетели и опустились. — Ну, как говорится, ремесло не во зло. Но, я думаю, вы же не собираетесь до скончания века торчать здесь, корпя над пыльными евангелиями?»

Эпалт скорчил таинственную мину, означавшую: почему я здесь, мне одному известно. Захоти — давно уже был бы во-он где. — Но что тут вынюхивает маленький сыщик? И как он его выследил?

«Удивлены небось, как я вас застучал? Мощно! Однажды пошел за вами следом, когда вы уходили от нас, — вот и адресок заполучил. А как-то утром явился к вашему дому в половине девятого и стал поджидать у подъезда — куда-то вы же ходите на работу, — ну, а остальное, сами понимаете, проще пареной репы. Нет, вы не беспокойтесь — могила! Я умею держать язык за зубами».

«А школа?»

«Школа не убежит».

«Кто вас послал?»

«Думаете, сестра? Ничего подобного. Она, конечно, мощно зла на вас, это точно».

Как завзятый представитель подрастающего поколения, Имант в каждую фразу вставлял наречие «мощно», выговаривая это короткое словечко с особым шиком — «мочно» или «моцно». И если во времена Директории были «щеголи», то ровесники Иманта заслуживали, чтобы их называли «мощами».

«Хорошо, вы вовремя смылись. Она всё зло выместила на Душелисе. Вот у кого железное нутро, уж этот все выдержит».

«Верно, и Душелис на меня мощно обозлен?»

«Ничего, потерпит. У него шкура дубленая. Но это так, мелочи жизни. А вообще-то я к вам по делу. Нет ли у вас книг про тайные общества? Особенно насчет их обычаев и уставов».

«Про тайные общества?»

«Ну, там Каморра, Мафия, Черная рука...»

«Об этих бандитских шайках вряд ли что сыщется, но вот о карбонариях, розенкрейцерах, дервишах, пифагорейцах — вполне может быть. А зачем это вам?»

«Н-да. Ладно. Так уж и быть. Вам я скажу, но уговор: молчание — золото . . . Мы собираемся основать тайное общество».

«Кто это — мы?»

«Я и еще несколько ребят из нашей школы, мои друзья».

«Чем же вы будете заниматься?»

«Чем? А что вообще делают тайные общества? Они наводят на всех жуткий страх, они проводят в жизнь все, что задумают, — и царствуют над всеми. И пусть только попробуют тронуть кого из наших. Мигом кликнем ребят, и дело в шляпе, кое-кому не поздоровится».

«Вас выкинут из школы, если дознаются».

«Поэтому общество будет мощно тайным. К тому же какое всё это имеет отношение к школе?»

«Того хуже — попадете в лапы полиции».

«Ну, моща! Да вы же почище нашей классной дамы! Волков бояться — в лес не ходить».

Эпалт прикинул — что уж там дурного может быть на уме у мальцов. Пускай себе играют. А дружба Имки теперь дорогого стоит.

«Идет, — сказал он. — Я приготовлю вам книги и помогу разыскать в них необходимые сведения, но с одним условием».

«Опять двадцать пять, вечно эти условия! С каким?»

«Вы немедленно отправитесь в школу, поскольку пропустили всего один урок. А после занятий приходите, книги будут вас ждать, да и у меня будет больше времени, поработаем».

Имант скорчил гримасу.

«Ну ты. Конец света. Придется, видно, писать контрольную по геометрии, не отвертись. Ладно, пока. И это: молчание — первая заповедь заговорщика».

Оставшись один, Эпалт погрузился в размышления. Итак, Гризли не на шутку осерчала. Махнуть рукой на дом Сургениевых, где он уже прижился и где масса возможностей заводить знакомства и связи в обществе, — не резон. Наконец, именно там спрятан волшебный ключик, которого домогаются и Душелис, и Тюрзен, и Спрукули, ключик к сладкой жизни и головокружительной карьере, именуемый «богатая невеста».

Намедни граф Нос выставил себя в дурацком свете и потерпел весьма болезненную неудачу. Теперь и второго дружка с треском выгонят вслед первому. И он тоже сделается всеобщим посмешищем. Это nepозволительная роскошь — Рига чересчур маленький город. Вмиг превратиться в меченого, парию? Спрукулиса хлебом не корми, дай позлословить в «Кубезелии», а с нею так или иначе связано большинство богатых семейств в столице. Спрашивается, где гарантия, что удастся снова вынырнуть на поверхность? К тому же еще одно дело в доме Сургениевых требовало прояснения: Николина. Эпалт не простил бы себе, если бы оставил эту загадку нерешенной. Хотя бы ради самоуважения надо идти до конца.

Значит, с Гризли необходимо помириться. Но как? Безусловно, извинения только обнаружат его беспомощность, и если даже будут приняты, все равно прощай нынешнее удобное положение резонера, который у всех на виду. Даже Имант постарается от него откренестись. Но, с другой стороны, вновь прибегнуть к насмешкам — значит, зачеркнуть прошлое, и бесповоротно, тут уж возврата не будет. Вот если бы удалось приперчить извинения шуточками, выказать к даме почтение, прикрывшись фиглярским колпаком, да еще так

всё перемешать, что сорок мудрецов не разобрали бы что к чему! Остроумие Гризли ставит высоко, даже выше, чем следовало бы, и остроумному человеку многое готова простить.

Эпалт отчаянно ерошил волосы. Пробежался взглядом по лям-щам от книг полкам — неужто в каком-нибудь романе или пьесе не было чего-нибудь подобного? Но, как назло, ничего не приходит в голову. А что если накорябать вирши? В рифму можно навертеть всякого-якого, что не скажешь прозой, и если к тому же присо-вокупить посвящение высокоим штилем? . . . Пожалуй, это идея.

Эпалт смахнул со стола бумаги и без промедления принялся за работу. Обложившись фолиантами XVII и XVIII веков, содержащими велеречивые посвящения меценатам и патронам от смиренных и ничтожных авторов, он листал том за томом с такой страстью, писал, черкал, рвал и переписывал с таким рвением и пылом, что засушенные библиотечные барышни, как всегда изнывавшие от безделья в ожидании конца рабочего дня, воззрились на него с изумлением и даже робостью, не понимая, какая муха укусила помощника заведующего.

Через несколько часов увлеченных и вдохновенных трудов Эпалт уже перебелил каллиграфической вязью на дорогой веленовой бумаге целых три черновые страницы, выводя все обращения и местоимения второго лица множественного числа красными чернилами, причем со всякими завитушками. Довольный собой, он с наслаждением перечитал написанное, осторожно перегнул листы пополам и вложил в большой плотный конверт, на котором начертил одно-единственное слово — «Гризельде».

Имант явился в три часа пополудни, как обещал. Эпалт вручил ему конверт.

«Это я прошу вас передать сестре».

Имант прищурился:

«Будет сделано. А если что не сладится, положитесь на меня».

Эпалт тоже прищурился.

«Вот теперь — вперед!» — промолвил библиотекарь и вместе с основателем тайного общества нырнул в темный лаз между книжными шкафами, и вскоре оттуда послышалось яростное перешептывание, торпливый шелест и какое-то шебаршение.

\*

В тот же вечер Гризельда Сургениек ознакомилась с нижеследующим посланием.

Ея Превосходительству  
Благороднейшей самовластной  
Маркграфине Априкской  
Баронессе Качкарской  
Аббатиссе женского монастыря «Сидробония»  
Патронессе мужского монастыря «Кубезелия»  
Arbiter elegantiae высшего света  
Главе салона Сургениеков  
Покровительнице угнетенных, наставнице вдов  
И заступнице сирот  
Несравненной  
Аделаиде Мирандолине Гризельде Сургениек.

Исполненный языческого преклонения и апостольской любви, преподносит свои скромные куплеты ничтожный червь и раб пред ликом Ея Светлости  
Павел Эпалт

Экселенц!

Рассыпаясь в прах пред ВАШИМ Порфирородством, автор сих жалких строк взывает к милосердию и вопиет: да не обруются на коленопреклоненного молнии гнева и град негодующих насмешек, да не будет сердце преисполненного простодушным восторгом слуги разбито сиятельным презрением, выслушайте его, уделите ему всего одно мгновение — короче вздоха виновницы торжества, мимолетней счастливого стечения, и душа просителя откликнется горячей благодарностью и самым страстным обожанием, коли взиграет в ней с новой силою то небывалое чувство, коим и без того объято всё его существо.

Экселенц!

Слава о ВАШЕЙ несравненной красоте, воссиявшей над путями подданных ВАШИХ, укрепляющей страждущих, утешающей несчастных, утоляющей жаждущих, давно уже достигла ушей автора и наполнила его истерзанную душу ликованием. Зная ВАШУ мудрую любовь к изящным искусствам и наукам, памятуя о том, что Вы и меценат поэтов, и кресало вдохновения, — автор, для которого быть ВАШИМ рабом есть сладчайший удел на земле, осмеливается поднести ВАМ свой несовершенный труд.

Будь автор, ничтожный из ничтожнейших, удостоен лобзания благородной Полигимнии, он восславил бы красоту ВАШУ величественным гекзаметром или скандировал оды и пеаны столь же резвою, сколь и возвышенной александрийской строфою; однако автора лишь случайно коснулась пурпурной складкою развевающихся одежд легкомысленная Эрато, и потому он обречен вечно чаять чистого и возвышенного, но удовлетворяться низменным и порочным. О злодейка Эрато, зачем ты уязвила автора в самое сердце, внушив ему жажду мирских утех, отчего заставила полюбить шальной и влажный поцелуй больше Божественного Обручения, ценить ласку капризного мгновения выше Непреходящей Надежды?

Но автору ведомо, что ВАША Милость не отринет его неуклюжие похвалы, ибо красоту, как и Господа нашего, дозволено воспевать как сильным и мужественным, так и слабым и ничтожным: ей поет осану царь зверей лев, ее прославляет жалкая куторочка, ее приветствует орел в поднебесье и хвалит земляная блошка под зеленым листом, величает ее Левиафан в бездне морской, слагает ей гимн инфузория в глухом пруду, радуются ей рододендроны и магнолии, ее одобряет даже плесень на лежалом сыре.

Но всякая Божья тварь воздает хвалу совершенству на меру своих сил и способностей, и у недостойного автора и в мыслях не было сочинить оду Ея Превосходительству, тем паче ее милой доброте, светлому уму и благородным поступкам. Сия задача зело трудна есть, тут надобно перо пылкое, как у Сафо, нежное, как у Тибулла, неистовое, как у Бертрана де Борна, окрыленное, как у Ариосто, печальное, как у Мюссе, и глубокомысленное, как у Райниса. Но сердечная приязнь и покорство равно велики, возлагает ли живописец к ногам Прекраснейшей портрет, изображающий Покровительницу во всем ошеломительном великолепии, или же просто анемон, который, орошаемый слезами упоения, распустился у него на груди, израненной и болящей. Да уподобится этому невзрачному, но ласковому цветку исторгнутая из уст автора историческая баллада.

Если бы автор осмелился с дерзостью непростительной возмечтать о том, что эта тоненькая тетрадошка станет на самую нижнюю полку домашней библиотеки ВАШЕЙ милости, как золушка среди фолиантов с золотыми застежками, одетых не в какой-нибудь козий или овечий, но в толстый сафьян, и в кожу динозавров, и в оболочку, выделанную из кабаньих пузырей, лелеять мысль о том, что ВАШИ нежные пальчики — о, безрассудный! — касанием легким, как шевеление усиков майского жука, дотронутся до этих неподобающих страниц, чаять — о, трижды безумный! — что туманный взор Благороднейшей, как ласточкина тень над хрустальным ручьем, скользнет по этим робким строчкам, которых матерью и крестной явились однако же крылатое вдохновение и неизбывное страдание, а отцом и крестным — взгляд, проникающий в самые глубины естества, и экскурс в омут мировой истории, — то выжженную душу преданнейшего слуги ВАШЕЙ светлости оросила бы снизшедшая на него благодать.

**Баллада о жестоком и хмелелюбивом короле Орале  
и дерзком холопе Остолопе**

Боль — вдоль. Голь — ноль. Король Орал:  
«Эй, глум! Хром, зараза? Рази грамм брому? Рази гром, рому!»  
Остолоп холоп плох — лопух и лапоть. Лопочет:  
«Бред! Ром в рот — вред!»  
«Ох, хам, дал маху! Не ром, а мор. Дай чай, но сам — в рай!»  
Король — бровью, холоп — кровью.  
Букашку Остолопа хлоп, башку в ров, и смерд мертв.  
Мораль:  
Хотя б приметил слабости у сильных мира,  
С советом к ним не лезь — всё лучше мимо.

Дочитав письмо, Гризельда уронила его на колени и долго сидела так, молча и неподвижно.

5

Гнидам в этот кабачок вход заказан.

Александр Чак

Трое основателей тайного общества, собравшиеся в комнате Иманта, были разительно непохожи друг на друга, как разнятся меж собой терьер, овчарка и сенбернар, или форель, судак и сом. Каждый из этой троицы представлял определенный тип, сформированный в значительной мере фильмами и приключенческими романами. Домашнее воспитание они получили в общем одинаковое, сходным было и материальное положение родителей, но всяк следовал своей путеводной звезде, как повелевал ему характер.

Денди Имант Сургениек был воплощением элегантного джентльмена удачи, который уютно чувствует себя лишь в салуне, на высоком табурете у стойки, рядом с ослепительной танцовщицей из гёрл-ревю. Сей гангстер-сноб носит непроницаемую маску равнодушия, может, только глаза зыркают тревожно; его девиз — всё знать и всё слышать — не случаен, ведь за каждым углом этого закоренелого бандита поджидает если не полиция, то завистливые соперники. Движения его гибки, как у гепарда, и внезапны, как у пантеры. Леденящие кровь события он излагает бархатным, приглушенно-камерным голосом с интимными интонациями и деланной, а вернее, презрительно-вежливой улыбочкой. Хотя угрызений совести браваый молодец не ведает, он не станет без нужды марать руки. Он — организатор, повелевающий оравой мальцов и подгребающий под себя добычу. Одним словом, это Джек Даймонд.

Адоптированный консулом Либерии и Никарагуа господином Мэйором сын сестры, сирота Вилибальд Майор — иного склада. Открытое, простоватое лицо. Громкий голос. Школьную форму ненавидит с меньшим остервенением, чем Имант, и Бог знает при помощи каких уловок заставил приемных родителей шить ему донельзя странный костюм, в котором щеголяет после уроков: серая, из прочной ткани, блуза с косыми нагрудными карманами, отороченными шнурком, с узкими длинными манжетами на кнопках, ковбойские штаны и сапоги с высокими голенищами. Ах да! — это же облачение Тома Микса, бесподобного киногероя, короля ковбоев, который скачет верхом по каньонам Новой Мексики, беря в плен негодяев и вызволяя красоток, или же как гром с ясного неба объявляется с двумя револьверами на весу в разбойничьих притонах Санта-Фе, Лас-Крусеса и Эль-Пасо. Великолепный Том!

Самый первый куплет, который выучивает дворовый мальчишка, посвящен Тому:

Микс Том  
Скот скотом,  
Пьет ром  
Нагишом!

Там, где у Тома на поясе бьющий без промаха кольт, у Вилибальда болтается финка. Правая рука приемного сына консула расслабленно покачивается вблизи рукоятки, и в любой момент — вжик! — кинжал из ножен, молниеносная хватка, точь-в-точь как у Большого Тома, когда он вскидывает свое громобойное ружье. Правда, у Вилибальда в его похождениях нет бесценного спутника Тома Микса — чудовищно разумного ученого коня Тони, но зато у него есть велосипед. Весь в дорожной пыли, обляпанный грязью стальной жеребец (а его нарочно ни разу не протирали) выглядит так, как и должен выглядеть драндулет, на котором еще вчера с сумасшедшей скоростью мчались от Южной Каролины до самой Калифорнии, ну, может быть, от Асари до Риги.

Том Микс, как правило, промышляет в одиночку. Вилибальд тоже работает на свой страх и риск. Ничто не доставляет ему большего удовольствия, как лазать по подвалам, чердакам, а кое-где и по крышам, продираться сквозь заросли зеленых насаждений, перематывать через ограду зоопарка, футбольного поля или катка, грести на байдарке по каналу, стрелять по мишени из духового ружья или пистолета монтекристо. На машине своей он сидит крепко, как завзятый ковбой в седле; ухватившись за руль, вскакивает на велосипед так, что трещат рессоры; совсем не касаясь педалей, ездит без рук по булыжной мостовой и брусчатке; ловко спрыгивает, пропуская под собой велосипед и в последнюю секунду удерживая его за багажник.

Третий заговорщик был в гимназической форме, но из-под растегнутого воротничка виднелось полосатое спортивное трико. Антон Стамур, брат Жабье, сын известного рижского винодела, парень коренастый, плотный и сильный. Он мечтает унаследовать славу Джека Демпси, Макса Шмелинга, Джо Луиса и все свободное время проводит в поединке с тенью или принимая всевозможные стойки перед зеркалом. Из карманных денег выкроил толику на покупку боксерской груши — пенчинга, но удары по ней производят такой грохот, что родители запретили ему это занятие, а кстати и упражнения со скакалкой, сотрясающие весь дом. Принужденный обстоятельствами, Антон изобрел иной метод закалки. Он сделал тряпичный мяч примерно с боксерскую перчатку величиной и такой же тугой, подвесил его на длинной веревке к потолку, запускает как маятник и ловит своим широким, пухлым лицом. Мать несказанно удивлена, откуда у сына по утрам такая вздутая, словно побитая физиономия, ведь спать он ложился свежий как огурчик. Антон безумно завидует спортсменам с характерными, сломанными в боях распухшими ушами и до смерти желает иметь перебитый нос — свидетельство доблести всякого порядочного боксера. Он даже уверяет приятелей, что однажды пропустил удар, раздробивший хрящи его милого курносого носа, и в доказательство вытягивает и мнет, как резиновую игрушку, его вздернутый кончик. По справедливости, для боксерской карьеры Антон Стамур слишком уже толст и тяжеловат. Для него это не секрет, видимо поэтому

он заинтересовался греко-римской борьбой — искусством далеко не столь ослепительным и благородным, как бокс, но все же не из последних. Он громче всех свистит и остервенело швыряется картофелинами и гнилыми яблоками, когда на арене рижского цирка какой-нибудь «Польский Циклоп», «Германский Геркулес» или «Чешский Шахтер» в зверском двойном нельсоне стискивает нашего Большого Яниса, и вопит и урякает до потери сознания, если уродливого, неприятного на вид богатыря эффектным приемом самого укладывают на лопатки. Посмей кто в присутствии Антона усомниться, что Янис Лескинович не самый могучий борец на свете, он не задумываясь ринется в драку и, рискуя если не жизнью, то здоровьем, сумеет проучить наглеца.

Имант рассадил заговорщиков вокруг письменного стола, кашлянул со значением и как-то странно постучал кулаком по столешнице, от которой как бы нехотя отскочила небольшая планка, открывая узкий тайничок. Главный заговорщик с важным видом извлек из него тетрадь с громадным пауком на обложке, раскрыл ее на нужной странице и торжественно начал:

«Книга Уставов Ордена Пауков.

Наименование Пауки имеет тройной скрытый смысл: мы будем упорны и настойчивы, как пауки; будем плести невидимую ловчую сеть, как плетет ее паук; будем вездесущи, как они.

§ 1. Задачи Ордена — тайные.

§ 2. Район действия Ордена — неограниченный.

§ 3. Орден состоит из братьев и имеет... Тут надо окончательно решить, сколько степеней. У шотландских вольных каменщиков было мощное число градусов, целых тридцать три, причем разделенных на восемь ступеней. Каждый градус дает право ношения звучного титула, например Принц Иерусалима, Шеф Табернакля, Кавалер Кадоша и т. п. У розенкрейцеров девять степеней, но и это для нас, пожалуй, чересчур. Я рекомендовал бы ограничиться тремя, допустим, ученик, подмастерье, мастер. По мере того как Орден будет расширяться, будем вводить более дробное деление на градусы».

«А я советую позаимствовать чины Ку-Клукс-Клана, — возразил Вилибальд, для которого все лучшее шло из Америки, родины Тома Микса. — Имперский Маг, Великий Дракон, Благородный Циклоп, Гроссмейстер Ордена Имперский Маг — чем плохо?»

«Ку-Клукс-Клан — очень молодая и, в сущности, довольно сомнительная организация. Лучше взять за образец латинские названия степеней: *practicus*, *adeptus*, *magister*. Но Имперский Маг как титул главы Ордена действительно неплох. Его оставим.

§ 4. Эмблема мастера: белые перчатки. Значение: работая на благо Ордена, рук не замарай.

§ 5. Глава Ордена — Великий мастер, именуемый Имперским Магом, избирается мастерами из своей среды пожизненно. Имперский Маг работает без отпусков и является также верховным судьей Ордена.

§ 6. Наказания: а) Обет молчания на срок от одного дня до двадцати девяти лет; б) Лишить всего и — на все четыре стороны! Примечание: должность орденского палача автоматически достается младшему по времени вступления в Орден брату».

«Здорово! — сказал Вилибальд. — Лишим всего директора гимназии, и пусть убирается на все четыре стороны, достаточно попил нашей кровушки».

«Тихо! — цыкнул Имант и продолжал:

§ 7. Институт протекции. По велению Имперского Мага Орден может оказывать покровительство любому лицу, учреждению, организации или государству, всячески ему помогая».

«Установим протекцию над красной Аннушкой из первой классической . . .» — снова вмешался Майор.

Имант побагровел:

«Кончай ржать!

§ 8. Тайные знаки братьев Ордена:

а) мастер прижимает ладонь к сердцу и сжимает ее в кулак. Смысл: пусть лучше вырвут мне сердце, чем я выдам орденскую тайну;

б) ответ: ребром ладони проводят по животу. Смысл: пусть лучше меня распотрошат, чем я выдам орденскую тайну;

в) знак одобрения: если брат в опасности и помочь ему невозможно, находящийся поблизости брат подбадривает его, вскидывая прижатые друг к другу ладони, как это делают американцы в знак благодарности за аплодисменты».

«Будем делать так всякий раз, когда Ималин-гуталин приблизится к Аннушке», — приснул Вилибальд.

«Послушай, — строго сказал Имант. — Мы здесь не для того, чтобы выпендриваться. Жизнь без великих свершений ничто, но только верные друзья могут вместе добиться скорейшего успеха. Вперед, и только вперед! Любой ценой! Сам знаешь, как важны в таких случаях товарищеская поддержка, сочувствие, одобрение. Паук не имеет права на неудачу, нигде и никогда! И у девушек тоже».

Майор вконец устыдился своего мальчишеского поведения. Имант перевел дух и продолжал:

«Сплоченные в тесный союз на многое способны! Вспомните танцующих дервишей, вспомните тибетских лам. Вспомните карбонариев, масонов. Мы будем вербовать все новых братьев, собирать ребят в кулак, мы раскинем такую сеть здесь, в северных широтах, что в одно прекрасное утро обнаружится — тут живут одни пауки. Натравим друг на друга малые страны, осуществим раздел больших, затем первым делом восстановим государство Витовта Великого, которое простиралось от Ливонии до Черного моря, от Карпат до Московии. Потом . . . потом посадим на царство в Риге императора Северной державы Великобалтии, и с него начнется новая династия, вроде Бурбонов или Романовых . . .»

«Династия Сургениеков», — заикнулся было Майор, но под колким взглядом Иманта прикусил язык.

«Разумеется, вскоре Европа окажется в сфере нашего влияния . . . А там обратим свои взоры на Индию — нашу, северян, прародину, и завоюем ее тоже; по пути прихватим Тибет со всеми ламами и, чтобы прикрыть тылы, прочешем также Сибирь. Если помнети, мексиканские ацтеки и перуанские инки тоже из наших, на это указывают их язык и глиняные черепки, найденные при раскопках, следовательно, со временем мы примем и за другие континенты. Наше величие будет безмерно, а слава прогремит на весь мир; Цезарь, Наполеон, сам Александр Македонский — жалкие пигмеи по сравнению с нами . . . И подумайте только, мы, отцы-основатели Ордена, будем на самых важных постах. Имперский Маг, разумеется, сделается императором Великобалтии, мастера — министрами и другими вельможами. Ты, Антон, будешь министром спорта».



«Хо, уж у меня боксерские матчи и борцовские чемпионаты будут устраиваться круглый год и ежедневно! Сведем в один турнир всех знаменитостей. И я сам буду бороться с ними».

«Нет, это исключается. Ответственный государственный деятель не может выступать на ковре, и потом — кто осмелится положить на лопатки министра. А что за радость участвовать в схватке, где тебе поддаются?»

«Тьфу, лавочка! В поддавки я не играю. Но звания чемпиона мира не променяю и на десять министерских портфелей. Министром стану, пожалуй, но — когда состарюсь и уже не смогу бороться. Будет кусок хлеба на старости лет. И вообще — министр спорта экс-чемпион мира Антон Стамур — мощно звучит, правда?»

«Так, а я буду начальником секретной службы», — сказал Вилибальд.

«Ты у нас будешь префектом полиции», — заявил Имант.

«Ну ладно. Только не префектом, а статс-шерифом. Ни в одном фильме про Тома Микса префектов нет, только шерифы».

«А кто же тогда будет шефом секретной службы?» — удивился Антон.

«Есть у меня один человек на примете», — сказал Имант.

«Кто это, ну, Имка, кто это? Ты сам?» — соратники были донельзя заинтригованы.

«Скажу в свое время».

Зная, что из Иманта, пуще всего на свете обожавшего тайны, ничего больше не вытянешь, друзья от него отстали.

«Э, да что за толк во всем этом? Плоды-то будут пожинать в лучшем случае дети наших детей. На все эти стравливания, разделы и переделы уйдут столетия», — с досадой произнес Стамур.

Вилибальд тоже состроил кислую мину.

«Что за чушь! — взвился Имант. — Разве ассасины убийцы не покорили в несколько лет всю Сирию и разве их вождь Хасан горный старец не правил счастливо тридцать пять лет? Вспомните, как быстро обрели необъятную власть средневековые рыцарские ордены — тамплиеры, тевтоны. А что сказать о малайских мошеннических союзах Ghee-Thip и Tsung-Phak, которым платила дань вся Океания? Мне ли напоминать вам о тайной буддийской секте Байляньцзяо — «Белом лотосе», основанном жалким буддийским монахом, но впоследствии принудившим отравиться золотыми листиками самого императора Ханя? А где еще японские «Черные драконы», которые убивают непослушных министров, где франкмасоны, где иезуиты? Или ты, черт возьми, запаматовал про свой собственный гигантский орден Ку-Клукс-Клан, основанный всего за несколько лет, орден, которому целые фабрики шили белые балахоны и все прочее? В нашем веке события быстротечны, теперь другие методы, иная реклама!»

Сгущались сумерки. На фоне окна вырисовывался тонкий силуэт Иманта, он непрерывно жестикулировал и говорил, говорил, с таким жаром, что брызги слюны летели во все стороны, в эти минуты он чем-то напоминал хромого баска Игнатия Лопеса де Рекальде Лойолу в момент основания его жестокого ордена иезуитов. Слова сыпались из уст Иманта, как из рога изобилия. Недаром он почти неделю безвылазно сидел в библиотеке у Эпалта. Немного подумав, оратор продолжал:

«В успехе Ордена можно не сомневаться при условии, если у нас будет железная дисциплина и слепое подчинение руководству.

Магистры должны показывать в этом пример. Хасан ибн Саббах, вождь ассасинов, тот, что всюду ходил в сопровождении свиты федаев, «верных», которые в бело-красном облачении, а это цвета целомудрия и крови, на месте закалывали всякого, на кого укажет вождь, так вот, этот самый Хасан убил обоих своих сыновей — одного за то, что без повеления умертвил отца врага, а другого за то, что отведал запретного вина. И потому, — заорал он яростно, —

§ 9. Из Ордена выйти нельзя!

§ 10. Отступника лишают всего и отпускают на все четыре стороны.

Я мог бы многое рассказать о том, как карают отщепенцев и предателей орден танцующих дервишей «Мевлевийя» или основанный магом и провидцем Мерлином союз рыцарей круглого стола. Иллюминаты отравляли их при помощи *agua torhana* — яда, который получается путем дистилляции из жира свиной, откормленных ядовитыми веществами. Немецкий «фемгерихт» вздергивал продажных судей на семь футов выше, чем воров. В китайских тайных обществах ренегатов удушали шелковыми шнурами и сбрасывали в каналы, прорытые под полом зала заседаний. Малайцы прививали проказу. А в Ку-Клукс-Клане самая презренная смерть — раздеть виновного догола, облить смолой, вывалить в перьях, посадить верхом на шест, пронести с торжеством по округе и наконец сбросить в реку. А о приемах тайного общества «Единение или смерть», убившего членов королевской династии Обреновичей, лучше всяких слов говорит их печать, на которой изображены зажатое в кулаке древко знамени, череп, бомба, кинжал и флакон с ядом. Наказание, применяемое нашим Орденом, сравнительно мягкое и к тому же его можно по-всякому трактовать, но латыши никогда не были кровавыми».

Вилибальд и Антон, подавленные кровавым всемогуществом Ордена, втянули головы в плечи и в конце присмирели.

«Милосердие Ордена Пауков простирается еще дальше. Решением Имперского Мага отступник может быть помилован. У тамплиеров ему приходилось падать на колени на плацу перед орденским замком и поочередно вымаливать прощение у каждого из братьев. Потом его, обнаженного по пояс, с вервием на вые, подводили к Великому магистру, который и решал дело. Этот вид помилования введем у себя и мы.

Еще нам надлежит разработать торжественную церемонию посвящения в братья. Принятые у дервишей и лам обычаи очищения так продолжительны и трудны, что ставят новичка на грань истощения. Слабые их просто не выдерживают. У кельтских друидов обучение длилось двадцать лет. Долгой и тщательной проверке подвергались также поклонники Элевсинских мистерий, эзотерических обрядностей...»

«Ты с ума сошел? — перепугался Антон. — Если нам предстоит очищение в течение двадцати лет, то мы сможем принимать в орден одних старцев».

«Я тоже думаю сократить испытательный срок. Мне нравится обычай китайского общества Хун: ученик дает тридцать шесть клятв, после чего мастер бьет фарфоровую чашку, говоря при этом: как не сложить наново эти осколки, так брату не преступить клятвы. Тексты клятв, черным по красному, сжигаются, а новоиспеченный брат, еще раз скрепляя свою клятву, отрезает голову белому петуху, предварительно нареченному именем монаха-отступника Ат-сата, и произносит при этом: «Как лишился головы этот белый петух,

лишусь и я, буде стану предателем, подобно монаху Ат-сату». Петушину голову смешивают с пеплом сожженных текстов, делают укол в палец, подставляя под капли стакан с чаем, его же обносят по кругу и все пьют, становясь кровными братьями и говоря: «С этих пор братство Хун твои отец и мать, его враги твои враги, его друзья твои друзья».

«Ох, этот вечный обряд побратимства всем уже осточертел, это несвоевременно, в любом плутовском романе только о том и пишут, а резать петуха вообще дурацкое занятие. Подумай, где мы возьмем столько петухов и кто за них платить будет?» — сказал Антон Стамур.

«Однако, — задумчиво произнес Вилибальд, читавший кое-что в детективных романах с убийствами о тайных обществах и их деяниях, — надо обставить посвящение так, чтобы дух захватывало. Например, вольные каменщики, испытывая неопита на верность, призывают его поразить насмерть врага ложи, голая грудь которого внезапно выглядывает в раздернутой занавеске. Кто не в силах ее пронзить, того с позором изгоняют. А голая грудь на самом деле баранья грудка. Так как младший брат нашего Ордена одновременно и палач, этот способ подходит на все сто».

«Если петух нам не по карману, то что же говорить о баране? Дорогостоящие церемонии у нас будут, когда Орден разбогатеет», — сказал Имант.

«Ясно, ограничимся обыкновенным обещанием, — промолвил Антон. — Ирландские «белые ребята», кабальные арендаторы, которые, надев поверх одежды белые рубахи, приканчивали по ночам помещичий скот, давали такую клятву: «Пусть лучше мне отрубят и просунут под тюремные ворота правую руку, чем я предам своих братьев».

«Слишком просто. Старомасонские клятвы занимают по несколько страниц», — сказал Имант.

«Эх, чего тянуть волынку, поклянемся хоть чем-нибудь, и с концом! — сказал Антон, которому длинные речи порядком поднадоели. — А не ставить ли братьям клейма? Скажем, выжечь на груди маленького паука или вытатуировать на спине паутину? Или хотя бы носить значок на лацкане либо на рукаве», — подумав, добавил он, так как испытывал особую нежность к почетным знакам и спортивным побрякушкам. Антон часами проставивал перед витринами спортивной фотохроники, разглядывая великанов с буграми мышц, их могучую, нередко татуированную грудь, с широкой лентой через плечо, густо усеянную медалями и жетонами. Имант и об этом подумал.

«Мы могли бы, как рыцари иоанниты, носить, не снимая, черный плащ с восьмиугольным крестом или же, подобно рыцарям ордена св. Лазаря, — с зеленым. Может, отдадим предпочтение белому кушаку, как у тамплиеров, или же заткнем за пояс топор, как наکشбандийя, в знак того, что они неподвластны страстям, но все это позже, не сейчас. Меченых немедленно исключат из школы, а татуировку обнаружат на осмотре у школьного врача. Пока мы должны блюсти тайну, и никаких знаков. Единственно, при выполнении особо трудных задач магистр надевает белые перчатки».

«Клятву, клятву!» — занудничал Стамур. Он даже встал в позу клятвоприношения.

«Не спеши! — остудил его пыл Имант. — А если ты вдруг очутишься во вражеском плену и тебя захотят принудить выдать основные законы Ордена и список братьев, что ты им скажешь?»

«Совру что-нибудь».

«А если тебя будут мощно пытаться?»

«Я . . . буду держаться».

«А если тебя накачают водой, завинтят ноги в испанские сапоги, будут выдирать ногти, подпаливать ступни?»

«Тогда . . . тогда я скажу правду», — сознался Стамур, передернув плечами.

«А чтобы ты не смог этого сделать, так вот оно. — Имка выхватил из тайника три мешка и три пробки. — Нахлобучивайте мешки на голову, а пробку суньте в зубы. Давая клятву, мы никого не будем видеть, никого не опознаем по голосу. И сможем чистосердечно свидетельствовать — мы не знаем, кто основал Орден».

Потрясенные и восхищенные мудростью и дальновидностью Иманта, они беспрекословно зажали в зубах пробки и сунули головы в мешки.

«Теперь чуток погодите», — измененным голосом произнес Имант.

«Мы ничего не видим и ничего не знаем, может быть, в этот момент вы удалились и на ваше место заступили другие. Мы не друг другу клянемся, мы клянемся Ордену».

Через мгновение они взялись за руки и хором произнесли обещание. Потом сбросили с себя мешки и утерли пот со лба.

«Вы ничего не видели?» — спросил Имант.

«Нет».

«По голосу никого не узнали?»

«Нет».

«Орден Черных Пауков основан! Теперь распишитесь здесь, в «Старых обязанностях, или Книге Уставов».

«Как же так? К чему тогда вся секретность, если надо ставить подпись?» — спросил Вилибальд.

«Какая-то бухгалтерия нужна. Те тысячи членов, которые вступят в Орден, — их же в голове не удержишь. К тому же книга основных законов никому не будет доступна, она будет храниться у Имперского Мага в кожаном футляре на голой груди! А теперь, — торжественно продолжал Имант, — достопочтенные магистры, выберем Великого мастера нашего Ордена, то есть Имперского Мага».

«Мне только кажется, что у Имперского Мага чересчур большие права, — сказал Вилибальд. — Нельзя ли нас троих, как основателей Ордена, наделить равной властью?»

«Основателям действительно можно дать больше прав, чем всем прочим, кто достигнет степени мастера, но один из нас все же должен быть начальником».

Имант выговорил это твердо и непреклонно, будучи абсолютно убежден, что Имперским Магом станет не кто иной, как он сам.

«Но если так, — не унимался Вилибальд, — он должен пройти особый ритуал посвящения. Карбонарии привязывали новоизбранных великих магистров нагишом к кресту шелковыми шнурами и клеймили иглами — три царапины на груди слева, семь на груди справа и три в том месте, где сердце . . .»

«В наши дни подобные фокусы ни к чему. Теперь сразу приступают к делу», — встревожился Имант.

«И все-таки Имперский Маг должен пройти специальное испытание. Маг должен быть стойким и не падать в обморок при виде крови. Когда перед строем соучастников отрубили голову вождю пиратов Северного моря Клаусу Стортебеккеру, он выпросил последнюю милость: позволить ему, обезглавленному, пробежать вдоль строя, и тех его товарищей, кого он минует не упав, пусть пощадят. Его

тело пробежало мимо одиннадцати человек — возле двенадцатого палач поставил подножку, пират упал. Вот какой Имперский Маг нужен паукам!» Поставив точку в этой душераздирающей новелле, Вилибальд содрогнулся.

«Словом, приступаем к выборам», — повторил Имант, как будто и не слышал страшного рассказа.

«Чего там, ты и будешь», — хмуро процедил Вилибальд. Стамур кивнул.

Имант встал, сунул руку за пазуху и достал оттуда белые перчатки. Натянув их, он произнес:

«Я благодарю магистров за оказанную мне высокую честь. Обещаю исполнять законы Книги Уставов и свои обязанности на совесть, для блага Ордена и славы его. Засим торжественно объявляю первый конвент Ордена Черных Пауков открытым».

«Прошу слова», — сказал магистр Вилибальд.

«Говори».

«Я прошу конвент удостоить меня, как основателя Ордена, титула Великий Дракон, который бы не передавался ни одному другому мастеру».

«Я согласен!» — сказал Имперский Маг.

«Я тоже, — поддакнул магистр Стамур. — И прошу слова».

«Говори».

«Я прошу конвент присвоить мне как основателю титул Благородный Циклоп, который никто из других мастеров носить не мог бы. И вообще никого больше особыми титулами не удостаивать».

«Согласны», — откликнулись сооснователи.

«Знаете, мне пора, — сказал Вилибальд. — Я обещал быть дома еще два часа назад. Дядюшка будет мощно зол».

«Хорошо. Закрываю торжественное заседание конвента. В школе поговорим, кого из ребят принять в ученики».

Когда Великий Дракон и Благородный Циклоп, попрощавшись с Имперским Магом, уже собрались уходить, тот внезапно воскликнул: «Стойте! Я забыл зачитать последний параграф из Книги Уставов: § 12. Орден роспуску не подлежит!»

## 6

Я пойду к журавлям, журавлём закурлычу.

Петерис Атспулгс

И снова Эпалт с замиранием сердца звонил в двери Сургениекам. Нарочито медленно раздевался в прихожей, прислушиваясь к доносившемуся из комнат гомону и смеху и пытаясь угадать царящую там атмосферу, чтобы подладиться под нее. Наконец вошел в залу. Гризли вертела туда-сюда Ирису в умопомрачительно шикарном наряде.

«Неплохо, неплохо, — тараторила Гризли с оттенком зависти в голосе. Подружки вечно соперничали в элегантности, и где Ириса превосходила ее в роскоши, Гризельда брала реванш вызывающей смелостью. — Видно, твоя портниха постаралась, настоящее попурри осеннего сезона. Имик, милый, что тебе больше всего нравится в этом пудинге?»

Имант обошел вокруг Ирисы и, дотронувшись пальцем до оголенной спины в узком длинном вырезе платья, глубокомысленно произнес: «Вот это место».

Ириса залилась краской и благосклонно кивнула эксперту, явно польщенная.

«Ну, за твое будущее, Имик, — усмехнулась Гризельда, — родители могут быть спокойны. Отставание в развитии тебе не грозит, я в твои годы была сама деревенская невинность».

Эпалт терпеливо ждал на пороге. Гризли давно его засекала, но делала вид, что не замечает. Из столовой показались Дагне, Душелис и Спрукулис, молодые люди были в смокингах.

«Принц не приедет, — сообщил кубезелец. — У него урок фехтования».

Ириса отошла к окну и молча уставилась во тьму улицы.

«Как вам нравится мой наряд?» — спросила Гризли.

«Превосходно», — в голос откликнулись юноши.

«Несообразительные вы, однако. Неужели нельзя было сказать это мне сразу, а не ждать, пока вас об этом спросят».

Только теперь она бросила взгляд в сторону Эпалта, и на лице ее отразилось несказанное изумление.

«Как, и господин Эпалт здесь? И как всегда не вовремя. Мы собираемся в концерт. Что же мне с вами делать? Ах, ну в конце концов поезжайте с нами».

«Я готов», — произнес Эпалт подобострастно.

«Но у него же нет абонементного билета», — возразил Душелис, подсказывая Гризельде способ избавиться от незваного гостя. Но та внезапно обрушилась на непрошеного советчика:

«Зато у господина Эпалта достало такта, чтобы не отказывать даме».

«Так — это еще не пропуск в Оперу».

«Его — нет, а вот ваш — да. Вы же не откажете, если я попрошу вас передать ему ваш абонемент».

Душелис примолк, мрачней на глазах. Положение спас Имант, заявивший, что уступает свой билет Эпалту.

«Но ведь на концерте будут Вилибальд и Антон», — удивилась Гризли.

«Если я не способен проникнуть в Оперу без билета, грош мне цена».

И, подмигнув Эпалту, он исчез куда-то с загадочной быстротой. Компания села в авто. Три дамы на просторном заднем сиденье, Спрукулис и Эпалт — на приставных стульчиках, Душелис — как бы в ссылке — рядом с шофером.

«Слыхали последнюю новость? — без промедления начал Спрукулис. — Что произошло с филестром «Кубезелии» Ансвесулисом позапрошлой ночью на его собственной свадьбе?».

«Не тот ли это Ансвесулис, которого недавно избрали в депутаты сейма?» — осведомился Эпалт.

«Он самый», — отрубил Спрукулис.

«Хорошенький мальчик, — как бы припоминая, сказала Гризли. — Красивый и страстный».

«Скорее испорченный, чем страстный», — вставила Ириса.

«Гм, гм, — двусмысленно хмыкнула Гризли. — Он делает блистательную карьеру. Подумать только, еще три года назад являлся к нам и к Майорам на обед, ни дать ни взять бедный студентиска, у которого после уплаты взносов в «Кубезелию» на еду не хватало. Поговаривали, что он как-то целый месяц питался Ирисовой губной помадой. . .»

«Фу, Гризли, и не стыдно тебе? Мы с ним даже не целовались».

«Нет? А у Дикштейнов? И все это видели, между прочим».

«Ну так ведь он был пьян... А ты? Вообще, если хочешь знать, ты чересчур много болтаешь... и целуешься тоже».

«Осторожно, Гризли, — подбавил жару Эпалт. — Поцелуй те же деньги — когда их печатают без обеспечения, стоимость падает».

«Слушайте вы ее больше! Но, правда, Ириса, почему у тебя с ним ничего не вышло? Кто из вас не хотел?»

«Оба».

«Да, любовь не такая простая вещь, как о том твердят нам родители, — пустился в рассуждения Эпалт. — Если из двоих не любит никто, мужчина липнет к женщине с той же силой, с какой она его отталкивает, и у них ничего не выходит. Если любят оба, мужчина тем больше робеет, чем больше женщина ему уступает, и снова ничего не получается. Эффект достигается лишь в том случае, если любит только один».

«Кажется, Ириса все взвалила на одного Ансвесулиса, — деловито пояснила Гризли. — Заботы надо делить пополам: дама выбирает укромное местечко — джентльмен целует. Дама подает знак — джентльмен делает предложение...»

«Гризли, прошу тебя, уймись!»

«А что я такого делаю? Все ясно: этот парень упивался поцелуями, как устрицами, но поскольку деликатесами сыт не будешь, вот он и стал изучать не только улиточек, но и их домики, особенно эти, которые шестизэтажные...»

«Ансвесулис был секретарем лидера Турьяня? — спросил Эпалт. — Добился внесения своей фамилии в список для голосования и набрал нужное число бюллетеней?»

«Дамских бюллетеней», — с нажимом произнесла Гризли.

«И потом выжил самого Турьяня?»

«Точно, это он, — бросил через плечо Душелис. — Удивительно, как после всего случившегося ему удалось уломать старика, чтобы тот выдал за него свою дочь».

«Ему и не пришлось улеживать папашу, — ответила Гризли. — Он умел распределить обязанности, отца уломала дочь».

«Эту дочь саму пришлось обхаживать, — заметил Душелис. — Перед выборами Ансвесулис пустился во все тяжкие. Флиртовал без продыху. Говорят, он прогуливается в дамском обществе, как агроном по колосающему полю, и пропускает дам меж пальцев, словно метелки овса».

«В отличие от вас, — атаковала Гризли. — Вы-то запускаете в дамское общество пальцы, как в пальцы».

«Выходить замуж за такого донжуана, как Ансвесулис, все равно что чистить зубы наждачным порошком», — сказала Ириса.

«Не такой уж он буян. Как-то и ко мне приставал, — робко заметила Дагне, — и по-хорошему пытался, и по-плохому, но ничего у него не вышло».

«А надо было по-божески, вместе с пастором», — сказал Эпалт, и Дагне замолчала, задетая за живое».

«Ну ладно, что он там за номер отколол? Рассказывайте, не тяните», — приказала Гризли, и Спрукулис, обрадованный, что ему снова дали слово, затрещал как пулемет:

«Значит, депутат Ансвесулис решил устроить свадьбу по высшему разряду, на английский манер, без всякого застолья и этой плейбейской толчеи, — приедет народ из церкви, выпьют чинно-благородно по стаканчику вина, точь-в-точь как указано в приглашении, и — с Богом. Дешево и сердито. Шик. Ну, от дружков и невестиных

подружек не отделаешься, без трапезы тут не обойтись. Ладно. Прибывает кортеж с венчания — гостей человек семьдесят, а стол в дальней комнате накрыт на двадцать персон. И тут выясняется, что уходить никто и не думает — рыжих нету. Что делать? Метлой ведь не выгонишь. Проходит час, другой, третий, языком вертеть все устали, снуют вокруг стола, облизываются, но не ест. Наш добрый молодец смекает наконец, что английский закон не про латышей писан. Ох и пришлось ему попотеть, совсем запарился, пока обзвонил все рестораны и кабаки и раздобыл все, что положено, но по тройной, разумеется, цене. А все-таки показал класс старина: как бы там ни было, всех накормил, напоил, всех ублажил.

«Вряд ли из Ансвесулиса выйдет хороший политик, если он так плохо знает свой народ», — с сомнением произнес Эпалт.

«Кто такую карьеру сделал, тот уже готовый политик. Чертыка! Настоящий кубезелец!» — восхищенно произнес Спрукулис и при последних словах заискивающе глянул в глаза Ирисе.

«Вы зачем ей подмигиваете, — мгновенно одернула его Гризли. — Если Ириса обожает армию, это еще не значит, что она должна втюриться в солдата».

«Не махнуть ли нам после концерта в «Эльдорадо»?» — предложила она спустя мгновение.

«Лучше завтра вечером, в баре будет новая программа», — с вызовом произнес Спрукулис, всем своим видом давая понять, что кому-кому, а ему нипочем перечить Гризельде.

«Голод с утра утоляют золотые уста, а вечером золото для голодного рта», — мудро и туманно заметил Эпалт.

Спрукулис навострил уши. Тут, кажется, кто-то хочет выставить его скупердяем или нищим без гроша в кармане? Да, это так — задета его честь! И уже готов был вспыхнуть скандал, а если и не скандал, то злая перебранка, как вдруг Гризельда принялась неудержимо хохотать:

«Златоуст! Златоуст! Павел Златоуст! Наконец-то наш велеречивый философ дофилософствовался до того, что сам наградил себя прозвищем. Bravo!»

Смех разобрал всю компанию. Спрукулис заливался соловьем. Эпалт счел за благо притвориться ошарашенным. Прозвище довольно лестное, если бы не одна деталь — когда он широко улыбался, в нижней челюсти блестел золотой зуб. Гризли знала, что делает. Придется проглотить эту каплю яда. В конце концов все складывается как нельзя лучше. Этим вечером она его едва замечала. Если и перемолвится словечком, то как бы невзначай. Не сердилась, но и не любезничала, и действительно, с чего бы. Теперь же, отомстив ему кличкой за кличку, она растаяла, само воплощенное дружелюбие. О чем и свидетельствовали раскаты смеха. Она потешалась над ним, но это было искреннее, незлобное веселье. Повеселели и остальные. Душелису понравилось, что не его одного поддевают на крючок. Спрукулис почувствовал, что за него вступились, он отомщен. Дагне тоже. Даже Ириса забавлялась от души, а поскольку образования ей было не занимать, то она просветила всех насчет нечестивого Иоанна Златоуста, не то греческого монаха, не то византийского епископа, претречи Павла Эпалта. В наилучшем расположении духа шестеро пассажиров подкатили к Опере.

Разумеется, они опоздали, но поскольку была абонирована ложа, их впустили. Гризельда вела себя шумно, двигала стульями, шелестела программкой, не обращая никакого внимания на гневные



взгляды и сдавленное шиканье в публике. На сцене низенький толстячок безжалостно терзал рояль.

«„Исламей“ Балакирева, — по слогам вычитала Гризельда в программке, — это что, не женщина и не религия?»

«Один черт. И та и другая не дают утешения и только норовят обмануть», — зашептал Эпалт.

Вышел скрипач и, взмахнув смычком, стал извлекать из своего инструмента горестные жалобные звуки.

«Стоп, что это он такое пиликает, серенаду Торичелли? Ах нет, это, кажется, пустота так называется? Или пустота — Тоселли?»

«Тоже один черт, — сказал Эпалт. — Исполнители серенад, как правило, играют в пустоту».

«Конечно. Особенно если увертюра затянулась, а серенада с моралью в конце».

«Не всегда запретный плод сладок. Иногда высокая мораль предпочтительнее».

«Златоуст, вы сегодня невыносимы, все время бренчите в черных перчатках по черным клавишам. Возьмите наконец более светлую ноту».

«Я невыносим? Ну что ж. Но ведь с ужасом вы обо мне пока не думаете. А только ужасное заставляет нас трепетать. Скажите, что бы мне такое сделать, чтобы навести на вас ужас?»

«Считайте, что это вам уже удалось... благодаря вашему поэтическому искусству».

«Премного польщен», — подвел черту Эпалт и до самого антракта больше рта не раскрыл. Грizzlies поминутно на него оглядывалась, но он тотчас придавал своему лицу отрешенно-просветленное выражение, словно парил в неземных сферах. Она тоже в разговоры не вступала.

В антракте они степенно прогуливались в фойе, подковой огибающим зрительный зал. На изломе их с видом победителя поджидал Иммануил. Правда, особо гордиться ему было нечем — в Оперу он проник при помощи банального трюка: сначала двое пауков заползли внутрь на самых законных основаниях, затем один из них вышел наружу с двумя билетами уже без отрывных контрольных талонов и через другой вход провел третьего, который сделал при этом вид, что выскочил на минутку по делу.

Душелис, предчувствуя опасность, прилип к Гризельде как банный лист и весь обратился в зрение и слух, сплошной глаз и сплошное ухо, ловит на лету ее мимолетное желание и малейший жест. Обычно Гризельда развлекалась тем, что придумывала для него всякие дурацкие поручения, но сегодня услужливость Душелиса бесила ее и раздражала. С каждой минутой она дулась все сильнее, так что Душелис не мог этого не заметить, но он был бессилен переломить ход события и, подобно герою древнегреческой трагедии, шел навстречу року с открытыми глазами, будто неведомая сила влекла его на аркане.

Грizzlies захотелось курить. Не успели еще дронуть ее губы, как в руках Душелиса, шестым чувством предугадавшего это желание, очутилась коробка сигарет и вспыхнула спичечная соломка. Стоило ей поискать глазами программку, как Душелис почтительно подносил ее в раскрытом виде. Она сделала несколько шагов по направлению к окну, намереваясь полюбоваться ночными огнями Бастионной горки, — портьера раздвинулась перед нею как бы сама

собой. Она откашлялась — и в ладони у Душелиса как по волшебству оказалась крошечная коробочка с ментоловыми лепешками.

«Прошу вас, смягчительное».

«Бога ради! — воскликнул Эпалт, паясничая. — Не касайтесь этих шариков, если вам дорога ваша талия!»

Гризли взорвалась не то булькающим смехом, не то клокочущей яростью.

«Отравитель?! Прочь! Прочь!» — и бросила конфетку на пол.

Весь вечер она избегала Дрыгалку, а увидев его, тотчас поворачивалась к нему спиной и пренебрежительно фыркала. Под конец Душелис уже и приблизиться к ней не смел. Всякие разговоры вообще были отставлены. Эпалт и Гризли довольствовались в общении между собой кодом из улыбок и подмигиваний.

Они не произнесли ни слова и в «Эльдорадо-баре». Четырежды нога Эпалта натыкалась под столом на обутую в туфельку из крокодиловой кожи ножку Гризельды. Три раза обошлось без извинений, так как туфелька и не думала убегать. На четвертый взгляды их встретились. Гризли исполнила пируэт бровями, как опытная кокетка, и засмеялась дробным прямым смехом. Эпалт чутко вслушивался в россыпь смехинок: фальши в них не было, а это значит — победа. Победа в бою! Он покосился на Душелиса, который, весь напрягшись, чутко ловил каждый звук и, видимо, пришел к тем же выводам, что и Эпалт, так как сделался мрачнее тучи.

Автомобиль затормозил у парадного подъезда сургениевского дома. И Душелис сорвался. Нисколько не думая о том, что все его слышат, он прошептал так громко и с таким отчаяньем, что Эпалта прямо зло разобрало:

«Гризельда, что же теперь, неужели ничего уже не изменить?»

«Обожаю вопросы в лоб, это так очаровательно», — с неподражаемым высокомерием отвечала великосветская дама, захлопывая перед носом у Дрыгалки парадную дверь. В машину он больше не сел, прощаться не стал и исчез за углом дома, как бесплотная тень.

\*

Вернувшись к себе, Эпалт обнаружил на столе письмо от Тюрзена. Слава Богу, жив курилка. После возведения Никелевого Мартина в графское достоинство от него целый месяц не было вестей. Эпалт даже посетил огромную, казарменного типа квартиру в дальнем конце Марининской улицы, где Тюрзен снимал крохотное место, но оказалось, что постоялец съехал, не сказав куда. Павел встревожился. Неужто досадная промашка на приеме у Сургениевых подрубила стойкого Мартина под корень?

Тюрзен писал:

«Привет, старина!

Чувствую себя хреново, и давненько. Но так как голова не давала покоя ногам, то стоящих мыслей не было. После дурацкого шухера у Сургениевов ко мне привязалось что-то вроде лихорадки, и я навестил лекаря. Гром с ясного неба — сбывлась наконец мечта школьных врачей, у меня в легких ТБЦ, этикие живчики. Правда, довольно давние мои дружбаны, разве что в последнее время набрали силу. Лекарь повелел немедля отправляться в сельскую местность, пить сливки и жрать масло от пуза, дрыхнуть круглые сутки и полчаса в день прогуливаться в сосновом бору. Я воспротивился, указав, что сия программа не вяжется с моими доходами, но он пожал плечами и заявил, что другого метода излечения этой болезни не знает.

Дома я со всех сторон обмозговал свое положение и перебрал в уме всех знакомых, хоть каким-то боком связанных с лоном природы. И вот, вбухав в телефонные переговоры двухнедельное жалование, я наконец нашел выход.

Теперь отдыхаю посреди сельских красот и совершаю получасовой променад по лесу. Пью сливки и отъедаюсь экспортным маслицем высшего сорта. Я истопник на Бучауском сборном молокозаводе, и мой заработок как минимум вдвое выше пособия по безработице. Рабочий день длится с двух ночи до шести утра, остальное время целиком посвящаю целебным занятиям. Работенка не пыльная, хотя я тут по уши в грязи, так как после смены помогаю мыть механизмы и емкости, а запах прокисшего молока — самый отвратительный смрад на свете. Но иначе нельзя, если хочешь быть при сливках и масле.

Ты уже понял, наверное, что наши общие знакомые, как, впрочем, и все мои замыслы, отодвигаются на задний план. Желаю больших успехов, надеюсь, ты уже выбрал конкретный объект. До моего возведения в дворянское звание этого, сколько помнится, еще не произошло, хотя ты и твердил не переставая, что половина успеха — знать, чего хочешь, то бишь, которую хочешь.

Терпеливо наблюдая здесь, в Бучауске, за приращением собственного веса, увы, телесного, а не общественного, буду ждать добрых вестей «с фронта».

С приветом

твой Мартин Тюрзен,  
граф Нос де Сопляй.

P. S. «Высшему свету» обо мне, пожалуйста, ничего не сообщай. За выдающуюся честь, которой удостоила меня Гризельда, придет час, сумею отблагодарить».

## 7

Может, я дурной слегка.  
Янис Клидзейс

Спустя примерно неделю после концерта Эпалт вновь стоял против сургениекских хором. Он мешкал перейти через улицу, взгляд его скользил по великолепному зданию. Полная луна блестела ярко, как в тот вечер, когда они с Тюрзенем впервые очутились здесь. Качались на ветру лампы, легкие облака затеняли лунный диск, на асфальте дрожали тени. Звери и прочие изящия, лепившиеся друг к другу на роскошном фасаде, дышали будто живые.

Какую пронизательность выказал Сургениек в украшении своего дома! Две обнаженные кариатиды, служащие символом изящных искусств, — не две ли это дочери банкира, чьи отнюдь не сублильные телеса живо напоминают могучих гипсовых красавиц с налитыми силой грудями. А два царя зверей по обе стороны фронтона, приветствующих друг друга задранными по-собачьи хвостами, — не сыновья ли это Сургениека, юные львы, один вожак в «Кубезелии», другой — заводила в школе? А стылая маска амазонки с гордым, непреклонным взором, повторенная чуть ли не в двадцати местах этой диорамы, — не образ ли той властной хозяйки, госпожи Сургениек, от сверлящих очей которой не в силах укрыться и никнет всяк переступивший порог дома сего. А все эти нагружающие стену павианы, совы, козлы, крокодилы, лягушки и жабы в самых разных позах и сочетаниях? Для каждой твари можно сыскать прототип если не среди домочадцев, то среди сургениекских гостей.

Но где же сам господин банкир? Слонов, носорогов, китов на фасаде нет, да и они не смогли бы олицетворять самого хозяина, воплотить его сущность. Он — сам этот массивный дом. Подобно

Атланту, несет на громадной спине и подпирает собою весь этот пестрый мир, кутерьму и толчею, кормит-поит и дарует радость пресыщенным и голодным, дармоедам и труженикам, карьеристам и мечтателям, пройдохам и растяпам. Банкир Сургениек действительно велик, как бассейн правителей эпохи Ренессанса, где плещутся тритоны и русалки, плывут красивейшие острова, качаются на волнах веселительные гондолы и ведут сражения галеры.

Только вот недостает на этом фасаде одного изображения. Внезапно у Эпалта перехватило дыхание: стройная девичья фигурка в простеньком синем пальтишке прошмыгнула в дверь оскультуренного здания. Николина! В самый раз сорваться с места, как бы случайно столкнуться с ней на лестнице, заглянуть в лицо, что-то спросить, услышать голос... Но какое-то неодолимое оцепенение сковало его члены, и когда он, досадуя на собственную нерасторопность, весь красный, метнулся через улицу, было уже поздно.

Сургениеки в этот вечер устраивали прием по случаю именин, а может быть, дня рождения, неважно, главное — Эпалта на сей раз ждали. Он понял это сразу, как только взглянул на Гризли. Подавив в себе неуютное ощущение, вызванное мимолетной встречей на улице, он быстро освоился с обстановкой и вошел в привычную для себя роль.

Душелиса что-то не видать. Уже четвертый вечер как не появляется. Эпалт почувствовал угрызения совести. Но что поделаешь, конкуренция. Какой смысл ставить подпорки под строение, которое вот-вот рухнет? Ведь у Душелиса был целый год в запасе. Проморгал, прошляпил, сам виноват.

Дагне. Как она холодна, опять ушла в себя, как улитка. С сестрами вечно так. Чуть проявишь меньше внимания к одной, обижается другая — честь семьи. А выкажешь больше внимания, снова дуется — ревнует.

Однако мадам Сургениек, уж не смотрит ли она на него с подозрением и плохо скрываемой неприязнью? И Висвальд? Впрямь, ситуация подчас становится натянутой. Да ну, ерунда! Гризли с ним заодно. А Гризли позаботится, чтобы эти кислые рожки приняли учтивый вид, по крайней мере на время светской беседы с ним, Эпалтом. До других ему и дела нет. Он пришел сюда не как жалкий проситель, он вольный пират, позарившийся на добычу и собирающийся идти на бордаж, в его положении один неверный шаг чреват позором и гибелью. Странная жажда приключений охватила его. Он чувствовал себя выше всего этого собрания. Ловок, изворотлив, умен — куда им до него. Сам Висвальд ему в этом не ровня. Разве не образовалось все к его, Эпалта, удовольствию? И так гладко сошло, лучше не придумаешь. Даже ссоры и стычки он сумел обратить в свою пользу. Два его приятеля, которым он прежде завидовал и которых уважал за выдержку, хладнокровие и точный расчет, смягчились на беговой дорожке, а он вышел на финишную прямую, в гордом одиночестве, путь свободен, браво, Павел, жму руку!

Гризли, исполнив обязанности молодой хозяйки, снова спешит к нему, шурша переливающимися шелками.

«Так одиноки?» — вопрошает она молча и складывает губы трубочкой, словно мать, нежащая малое дитя.

«Так заняты?» — отвечает он грустной улыбкой, но глаза его веселы.

Они еще на «вы», но ласковое и доверительное «ты» уже вот-вот сорвется с кончика языка. Они все еще пикируются, усвоив эту манеру при первом знакомстве, но от ссоры не осталось и следа.

Если слова суровы, воркует голос, если голос резок и сух, глаза излучают теплоту, если сверкают строптивные очи, в касании рук извинение и ласка.

«Ничего не попишешь, уйма гостей . . .» — извиняющимся тоном произнесла Гризли.

«И все такие умные и красивые, я боюсь затеряться в толпе . . .»

«Кто вас больше пугает — красивые или умные?»

«Красивые, конечно. Встречают по одежке, по уму провожают».

«Галантный человек сказал бы иначе».

«Как же?»

«Вы должны были сказать: глядя на вас, я страшусь красивых, а слушая вас — умных».

«Верно. Я вижу, вы умнее генерала».

«При чем тут генерал?»

«Он муштрует свои полки, а вы — и противника. То есть, пардон, поклонников».

«Поклонники и есть противники, так как переходят в атаку».

«Но только по вашей команде. Вот почему в любовных сражениях, в отличие от других, можно одержать победу, отступая».

«Смешно слышать. Женщину побеждают, уступая».

«Вряд ли. Хорошие манеры — верный признак того, что мужчина терпит неудачу».

«А разве хорошие манеры — это уступка?»

«Ну! Ведь для женщин хорошие манеры — это когда потакают их капризам».

«Вот видите. Женщиной обладает тот, кто сумел удовлетворить ее каприз».

«Удовлетворенный каприз — уже не каприз. Побеждает не тот, кто его удовлетворяет, а тот, кто его распялет; Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. Дон Жуан говорит: дайте мне каприз, и я овладею капризницей. Каприз сам по себе — это слабость».

«Банально и старомодно. Сила женщины в притворстве, она только притворяется слабой».

«И что же, вы нашли у меня архимедову слабость?»

«Да. У вас слабость к слабостям».

«Как сложно. Можно проще».

«Пожалуйста».

Гостей позвали к ужину. Все перешли в столовую. Они остались в зале вдвоем. Гризли вдруг стала необыкновенно серьезной. Она подошла к Эпалту так близко, что ее жаркое дыхание опалило его.

«Хотите, я скажу, что э т о? — выпалила она. — Хотите скажу . . .» — Она прикрыла глаза, но продолжала смотреть на него из щелочек жестким, трезвым, изучающим взглядом, и взгляд этот был невыносим; внезапно губы ее увлажнились, она прерывисто задышала и всем телом припнула к Эпалту.

Эпалт оторопел. Что с ним? Как в трансе, он стал пятиться назад. С ним что-то не то. Страх, сомнение обуяли его — и злость на самого себя, на это непонятное сомнение. Безумец! Красивая, цветущая, ах — пустяки! богатая девушка у него в руках, она ждет, ну обними же ее. Что с тобой, почему ты пятишься, весь дрожишь мелкой дрожью? Как вращающиеся жернова, мелькают перед глазами все блага, которые достанутся ему вместе с Гризли. Отчаянье

и ярость взыграли в нем: Павел! — мысленно окликнул он себя. — Очнись! Возьми себя в руки!

Он уперся спиной в дверь кабинета. Внезапно остро и звонко, словно кто-то выронил горсть медяков, застучали молоточками по вискам удары пишущей машинки. Сигнал предупреждения. В одно мгновение Эпалт опаматовался. Робость как рукой сняло, губы его скривились в привычной иронической ухмылке, и, сам еще не понимая, что он делает и зачем, Павел Златоуст сказал:

«Остерегайтесь излишней откровенности. Как бы потом не пришлось раскаиваться».

«Не воображайте о себе слишком много, господин Эпалт! — после короткой, но леденящей душу паузы ответила Гризли. — Нет, вы подумайте, стоит только перейти на шепот, как эти молодые люди решают, что им обьясняются в любви».

И с громким смехом она выбежала в столовую.

Украдкой смахнув пот с холодного, как камень, лба, Эпалт проводил ее усталым взглядом. Что он наделал! Язвительный смех гремел в ушах. Что он натворил! Все рухнуло, окончательно и бесповоротно! Этого оскорбления гордая и избалованная Гризли никогда ему не простит. А он сам, простит себе то, что случилось? Не придется ли потом раскаиваться в этом шаге, и, может статься, всю жизнь, до конца дней своих? Ему стало страшно. Он знал, что нет на свете сожаления горше, чем об упущенных возможностях. Но откуда это странное чувство облегчения, как у воина, который снял с себя амуницию, каску, бросил оружие: в горячке штыкового боя противник уже был повержен, оставалось добить его — и тут внезапно кончилась война. Еще не осознавая отчетливо своего нового положения, он прошел в столовую, тихо присел на свободное место в дальнем углу стола и погрузился в раздумья. Предназначенный для него стул, рядом с Гризли, пустовал, это бросалось в глаза.

С Гризли творилось что-то неладное, она была на взводе, не знала, куда девать руки и ноги, препиралась с братьями и сестрой, спорила с матерью, теребила подруг, нападала на братниных друзей, но то, что кипело в ней, не находило выхода. Гнев и обида душили, терзали и точили ее, и она с недоумением ощущала, что ей чего-то ужасно, до боли недостает, того, что было при ней всегда, к чему она привыкла, что же это такое — дозарезу необходимое, без чего неуютно и ненадежно на свете? Она — гостья, покинувшая званный вечер, но где же дом ее, невозможно найти, только и остается, что бродить неприкаянной по улицам в поисках хоть какого-нибудь пристанища. Кто ей был нужен?

В это же самое время какой-то добрый, а может быть, и злой демон довел до точки ревность, боль и мрак в душе Дрыгалки, и горе, которое он мужественно сносил в одиночестве вот уже целую неделю, выплеснулось наружу, терпенье лопнуло, ведь он только слабый человек из плоти и крови. Он утратил последние остатки гордости и чести, понимая одно — у Сургениеков сегодня вечером прием, куда его не звали, и там Гризли и Эпалт, этот предатель и плут Златоуст. Он, Атис, тоже должен быть там, и будь что будет. Хуже, чем сейчас, не бывает.

Душелис стал лихорадочно одеваться. Натягивая смокинг, сломал накрахмаленную грудку, оборвал петлю воротничка, который вздыбился чуть ли не до затылка. Галстук-бабочка съехал, напоминая каракатицу с большим брюшком и тупыми плавниками. В таком виде — жилет застегнут не на ту пуговицу, лаковые туфли забыты

дома — он тихо, как привидение, проскользнул в столовую Сургениеков в тот самый момент, когда ужин закончился и подали кофе.

Глаза Гризли вспыхнули, как новогодние ракеты на салюте. Вот кого ей недоставало — живой мишени, над кем язвить и измываться.

«Эй! Запропастившийся грош выкатился из щели! — воскликнула она с гадким смехом. — Посмотрите! Точь-в-точь призрак смерти Бельфагор! Весь худой и бледный! Подайте ему бульон! Боже, что с вашим жилетом! С кем вы подрались, кто изломал вам грудку? Цыплячью грудку, ха-ха-ха, я прямо слышу, как она разрывается пополам с сухим треском! Ха-ха-ха! А туфли, мой Бог! — смех перешел в истерику, — да что, что, что с вами стряслось?!»

«Ничего», — невозмутимо произнес Душелис, и ни один мускул не дрогнул на его лице, только глубоко запавшие глаза глядели прямо перед собой, глядели пронзительно и грозно, и притом слепо, невидяще, как глаза незрячей лошади, в которые неприятно смотреть. Он поздоровался, быстрым незаметным движением вмиг привел в порядок жилет, поправил галстук и, заметив рядом с Гризли пустующее место Эпалта, уселся на стул с таким спокойствием и достоинством, что твой король, почтивший своим присутствием пир вассала, — или бродяга, привыкший, что в любую минуту хозяин может пинком вышвырнуть его на улицу. Он не был зван? Бывает, явишься без приглашения, но твой приход никого не удивляет. Душелис двигался как сомнамбула, человек, преступивший грань между добром и злом. Ему подали ужин, он ел с отменным аппетитом, как смертник перед повешением.

Между переменами блюд вел светскую беседу. Обменялся несколькими фразами с хозяйкой дома, полюбезничал с дамами, учтиво поспрашивал о том о сем подавленно примолкшую Гризельду. Даже анекдот рассказал. В речи и движениях Душелиса было что-то особенное, от него невозможно было отвести глаза, за столом только он один и говорил и что-то делал, остальные сидели окаменев и неотрывно на него смотрели.

Неожиданно случилось нечто поразительное. То ли в душе Гризельды проснулась жалость к Дрыгалке, вечному шуту поневоле, то ли она уже давно питала к нему нежные чувства и только скрывала их под маской жестокосердия и насмешек, или сегодня испытывала к нему благодарность за то, что своим приходом он вновь доказал ей свою безграничную преданность, но она у всех на виду стала хватать тарелки и блюда с яствами и с радушной улыбкой предлагать Душелису. Раньше за ней такого не замечалось, сам Душелис поперхнулся от изумления.

Эпалт, исподлобья, украдкой наблюдавший за Гризельдой, перехватил ее взгляд и усмехнулся. Ириса тоже едва заметно скривила губы. Вновь подняв глаза, Эпалт невольно вздрогнул. У Гризли было точно такое лицо, как в тот день, когда она вспылила, услышав благословение ей с Душелисом. В узеньких щелочках очей, как огонь сквозь заслонку плиты, полыхал недобрый свет, стиснутые губы побелели. Она вдруг вскочила с места и рывком поставила на ноги Душелиса.

«Мама! — закричала она. — Дорогие гости! У нас с господином Душелисом нынче помолвка!»

Сграбастав Дрыгалку, который с перепугу трепыхнулся и обмяк, словно приземлившийся на диван плед, она чмокнула его в щеку и швырнула назад на стул.

Желтая физиономия госпожи Сургениек посерела, сделавшись того же серо-голубиного цвета, что и ее шелковое платье. Мадам медленно выпрямилась во весь рост и застыла величественно, как монумент.

«Что ты несешь!» — выдохнула она и закатила глаза, как будто перед ее взором в страшном видении раскалывался мир.

«Что ты несешь!» — высунув язык, передразнила ее дочь и с громкими рыданиями выбежала из комнаты.

Гости оцепенели. Хозяйка дома повалилась в кресло. Все присмireли и втянули голову в плечи, словно им надавали затрещин. Одна Дагне улыбалась. — Дуреха! — подумал Эпалт. В глазах Душелиса блеснула смешинка. То был юмор висельника. Он глубоко, протяжно вздохнул, поднялся с места, подошел к госпоже Сургениек и степенно поцеловал ей руку.

Мадам была способна бороться со всем и вся и управиться со всяким. Мало кто мог ей противостоять. Одним взглядом уничтожить человека, одним словом попортить репутацию целой семьи — для нее ничто, пустяк. Ее слушался могущественный муж, она одна имела право отругать шального Висвальда, свояченица Гризельда ходила на цыпочках, когда мать отдыхала, чиновники банка, слуги на мызе и весь этот сброд тут, за столом, как ужаленные припадали к пухлой ручище, когда хозяйка величественно врывалась в комнату. Только одна-единственная вещь могла ее поколебать: публичный скандал. И поэтому она выдавила из себя улыбку и взерошила жидкие космы Дрыгалки.

Облегченный вздох пронесся над столом.

Когда Гризельда, успокоившись, вернулась к гостям, она была уже в новом качестве и получала полагающиеся невесте поздравления, причем горячей всего обнимала и целовала сестру Дагне.

Эпалт отошел в сторонку. К нему подсел Имант.

«Орден основан», — сказал он, выдержав томительную паузу.

«Желаю успеха».

«Братья завербованы почти в каждом классе».

«Отлично».

«Когда кончим школу, это будет уже могучая организация».

«Вероятно».

«Надеюсь, вы тоже в нее вступите?»

Эпалт поднял голову.

«Конечно, вам не придется проходить низшие ступени. Мы проведем вас сразу в магистры, и . . . когда власть над всем миром будет в наших руках, я обещаю вам самый важный пост — должность шефа секретной службы».

«Спасибо, Имант. Но давай поговорим об этом в другой раз».

«Понимаю . . . Из-за женщины горевать не стоит. Мы, пауки, тоже пришли к этому выводу. Гризли вечно такая. Не угадаешь, что у нее на уме. Обычно одни глупости».

«Ничего, — сказал Эпалт и, привстав, обнял Иманта за плечи. — Я бы не сказал, что она вела себя глупо. Думаю, все идет своим чередом».

«Другого я от вас и не ждал. Но как бы там ни было, мы еще с вами встретимся».

«Конечно».

Эпалт одевался в полной уверенности, что больше ему в этом доме не бывать. Решил в последний раз заглянуть в гостиную. Никого.



Собравшись с духом, он подскочил к дверям кабинета. Сейчас или никогда. Рванул на себя дверь. Темно и пусто.

«Господин Эпалт! Надеюсь, вы и впредь удостоите нас своим посещением», — донесся до него язвительно-вежливый голосок Гризельды.

«Теперь, господин Эпалт, у вас будет не один повод для визита, а целых два», — добавила она, держа под руку Душелиса.

«Очень любезно с вашей стороны, господин Эпалт, что вы не захотели уйти не попрощавшись, но что за блажь искать меня в кабинете?»

И, взяв жениха под локоток, она царственным кивком, холодным, но милостивым, отпустила господина Эпалта, который, как ни старался, так и не смог выпрямить спину и выйти вон с гордо поднятой головой.

## 8

Руку и сердце ей предложу,  
Она промолчит в ответ.  
Но если ответит, у нас  
Маленький будет секрет.  
Секрет раскроется вдруг —  
Буду ждать не дыша.  
Но если согласие даст,  
Наполнится ядом моя душа.

Карлис Штралс

Гризельда ждать не привыкла, Душелис поторапливался, опасаясь, как бы эта своенравная Гризли не передумала. Через месяц играли свадьбу.

Эпалт прошел в залу, когда там уже толпились маршалки при невесте — одиннадцать кубезельских витязей как на подбор. Одиннадцать к одному — сопоставление Сургениеков и Душелисов по части богатства, связей, положения. Одиннадцать статных, фракных юношей при полном параде и кубезельских знаках отличия — широкая, в два пальца, золотая лента через плечо и массивные серебряные кольца — теребили в руках расшитые золотом парчовые шапочки. Все одиннадцать — отпрыски известных семейств или, по меньшей мере, молодые люди со связями, окруженные заботливыми «дядьками», все на пороге головокружительной карьеры. Больше половины из них — прощу почтения — в собственных фраках, о чем нетрудно догадаться — сидят как влитые; а лица беззаботнейшие, с такими лицами и ходят люди, которые, как пишут в романах, «имеют обыкновение ужинать в вечерних костюмах». Против этих одиннадцати представителей золотой, или, в худшем случае, позолоченной молодежи, одно присутствие которых возбуждало на женской половине дома гамму разнообразных чувств, от волнения и смущения вплоть до щемящего ужаса, и заставляло клубиться облачка пудры, низвергаться водопады туалетной воды и истираться килограммы губной помады; против этих одиннадцати атлетов, балагуриющих за кружкой пива, развлекающих дам анекдотами и куплетами; против одиннадцати златоносов, символизирующих одиннадцать выдающихся добродетелей Сургениеков, — что был одинокий маршалок при женихе, жалкий и презренный, во взятом напрокат фраке, не корпорант, а дикарь, и что он мог символизировать? Только то, чем гордилась семья Душелисов, а она могла гордиться своим единственным наследником, и уж больше ничем. И вот из

какого-то непонятного милосердия вельможные Сургениеки подняли Атиса Душелиса из грязи и возвысили до небес, то есть до своей дочери.

Эпалт держался скованно, тише воды ниже травы. Стоило ему шевельнуться, как подakraхмаленной сорочкой предательски шуршали проложенные на груди и выше локтей газеты: на дворе, как всегда в таких случаях, трещал морозец. Одежда с чужого плеча топорщилась на нем. С каждой минутой ощущение, что ты сел не в свои сани, напивлив костюм, в который до тебя облачались десятки, сотни мужчин, тщившихся выглядеть джентльменами, становилось все невыносимей. Эпалт поклялся себе никогда больше не брать напрокат костюмы.

В жестах маршалков, важно исполнявших свою должность, сквозила некоторая неуверенность, преувеличенная элегантность и порывистость, что характерно для человека, не привыкшего щеголять во фраке. Разговоры вертелись в основном вокруг поддевок, коим надлежало защитить тело от холода; тех, кто перестарался, осыпали градом насмешек. Спрукулис и еще двое молодцев отстегнули твердую манишку, выставляя напоказ волосатую грудь под жестяной сорочкой. Злые языки мигом примолкли. Вот где настоящие спортсмены, это в девятиградусный-то колотун! Эпалт, ошарашенный, сжался в комок.

Тут широко растворились двери, пропуская в зал на пенящейся волне французских духов двенадцать ангелочков, двенадцать дев «Сидробони», в одинаковых розовых платьицах из тафты, с газовыми воздушными плечиками, тоненьких, стройных, одна к одной, и с ними Дагне. В глазах зарябило от двенадцати искусно подстриженных, завитых головок — эбонитовые, бронзовые, медно-рыжие, тускло-золотистые, песочно-желтые, наконец несколько платиновых блондинок. Приоткрылись губки всех оттенков алого цвета, от оранжево-апельсиновых до фиолетово-коричневых, всех очертаний, от круглого сердечка до нежно изогнутой «тетивы амура», рассыпались серебристым смехом всех мыслимых регистров и тембров двенадцать бубенчиков и колокольцев, и, словно в пасхальном перезвоне, эхом откликнулись сонорные героические тенора и пивные басы мужественных кубезельцев.

Большинство здесь уже знакомы друг с другом. По указанию невесты разбились на пары. Висвальд с Ирисой Майор, Эпалт с Дагне... Дагне, самая тучная из всех, казалась неуклюжей, но от нее веяло здоровьем и покоем, и, в общем, прибранная и наряженная, она смотрелась очень даже неплохо.

Перешептывание длилось недолго. В комнату влетел Имант. Лицо его все еще выражало досаду трехнедельной давности: на свадьбу сестры ему сшили не фрак, а всего только смокинг.

«Авто поданы», — провозгласил он.

Уже двинулись к дверям, но тут громадная туша с широким крахмальным пятном на груди заслонила проход: сам Сургениек приковылял к маршалкам с фляжкой французского коньяка в одной руке и фужером вина в другой.

«Ну, ребята, по глоточку, на улице не жарко!»

Маршалки, поморщившись и крикнув, приняли дозу. Десны искололо иголочками, глотку продрало хвощовым венником и по всему телу разлилось приятное тепло. Высыпали на лестницу, ступая неслышно и чинно, как и подобает джентльменам во фраках с развевающимися фалдами.

Прыжок в ледяную прорубь! Лицо обожгло резким ветром, вздымавшим сухую снежную пыль. Два огромных лимузина проглотили шаферов и укатили в Задвинье.

Строем прошагав через всю церквушку, двенадцать апостолов склонились в молитве перед алтарем. Гнусная идея, — весь дрожа, чертыхнулся Эпалт, — венчаться в неотапливаемой окраинной церкви! В этих сырых стенах еще холоднее, чем на дворе. Нет чтобы прогуляться по роскошному и теплому архиепископскому собору! Но в этой церквушке, изволите видеть, тридцать лет назад скромный приказчик Давид Сургениек, а ныне банкир, обвенчался с дочерью мелкого задвинского лавочника и сегодня, побуждаемый сентиментальными воспоминаниями, пожелал, чтобы дочь его сочеталась браком не где-нибудь, а именно здесь.

Церковь была полным-полна народу. Седовласые старички, кутающиеся в платки бабки. Задвинские старожилы еще помнили баловня судьбы Сургениека и его жену, ведь в свое время многие из них частенько заходили в сургениекскую лавочку.

Ко входу, фырча, подкатывали автомобили. По бокам каждой новоприбывшей семьи или четы шествовали маршалки, сопровождая званых гостей к алтарю, перед которыми стояли для них ряды стульев. Эпалт, можно сказать, согрелся при одном виде шикарных чернобурок и песцов, шиншилловых палантинов, норок и ондатр, целых двадцать минут чередой наполнявших церковь под шелест шелка, атласа, бархата и парчи.

Оглушенный пестрой толчеей, церковным гулом и холодом, Эпалт двигался как автомат, с трудом узнавая знакомых. Вдруг в дверном проеме, в клубах морозного воздуха, возник какой-то мужичок с ноготок, странно, как марионетка, взмахнул ручонками и исчез. Маршалки ринулись ко входу — появились молодожены и подружки невесты. Загудел орган. Одиннадцать из ленточного клана, сверкающих золотом, и один вольный дикарь протянули зятянутые в перчатки, одеревеневшие на холоде руки к двенадцати трехсвечовым серебряным подсвечникам. Выстроились парами. Бедные подружки! Колотун тотчас приложился своими бесстыжими ладонями к оголенным рукам и плечам, покрыв их гусиной кожей. Приближенные торопливо поправляли длиннющий шлейф подвенечного платья невесты.

«Пошли!» — послышался отчаянный шепот. Процессия двинулась вперед.

Жених неся с такой скоростью, что пламя свечей в руках у маршалков превратилось в голубые точки, грозившие вот-вот погаснуть. Эпалт, шедший в первой паре, как того пожелала невеста, напрасно старался притормозить шаг. Все было как в тумане.

«Несется, выпучив глаза, как рак», — раздался шепот в толпе. Вот и алтарь. Маршалки поставили светильники на постаменты и застыли, как статуи. Ни одна свеча все же не потухла. «Счастливая примета», — послышались приглушенные голоса прихожан.

Пение. Хор. Соло. Пастор говорил длинно, витиевато, снова и снова возвращаясь к началу. Присутствующие стыли под сводами огромного ледника. Званные гости во фраках и вечерних туалетах, окутанные парами дыхания, как воробьи на карнизе, стоические терпели в ожидании конца церемонии. На посиневших лицах и побелевших губах пастор читал одну просьбу, скорее даже угрозу: кончай же наконец! Но, съездившись в теплый комок под черным таларом, всё гундосил

бесконечную жалобную проповедь, честно отработывая свой пятикратный гонорар.

Эпалт понемногу приходил в себя. Провожая грустным взглядом белые клубы пара, ритмично выдыхаемые из ноздрей, скосил глаза на невесту. По закону да обычаю, согласно неписанным правилам, ей полагалось рыдать. Но очи невесты так блистали, что, кажется, пускали зайчиков в лицо моложавому пастору. Тот избегал смотреть ей в глаза. Неужто флирт у алтаря? Вот дрогнули, будто в усмешке, уголки ее губ. Пастор заголосил еще жалобнее. Уголки губ дернулись. От холода, что ли? Но цветы у нее в руках совсем не дрожали. Все ее обольстительное тело излучало силу, энергию, жизнерадостность. Нет, она не мерзла, хотя лживый, легкий как дыхание шелк плотно и несколько даже нескромно облегал округлости ее красивой фигуры, изумрудно переливаясь и страстно всхлипывая при каждом вдохе. Кумушки, видно, уже стакнулись, обкладывая потихоньку наряд невесты, — чересчур декольте, чересчур обтягивает, чересчур . . .

И все же какая великолепная женщина! Обнять этот упругий, грузный, правда, но полный жизни стан . . . ощутить его томную тяжесть и почувствовать, как сильные руки смятенно и страстно тебя обнимают, ответить еще более жарким объятием, впиться в эти подрагивающие, влажные губы, мясистые, мягкие, как горячие подушечки . . . Поймав себя на столь неприличных в такой обстановке мыслях, Эпалт вздохнул.

Что-то защемило сердце. Ведь это он мог стоять теперь на месте Душелиса, который в длиннополном фраке выглядел нечеловечески тонким, а от напряжения был белее беленого полотна. И достиг бы одним рывком чаемого благосостояния. Прекрасная квартира, солнечный паркет, колышущиеся шелковые шторы на окнах, модная полированная мебель, громадный, массивный, но удобный письменный стол, о котором он давно мечтал . . .

Теплые местечки и хорошие должности — извольте на выбор, заветные двери распахиваются услужливо, как перед важным господином двери лучших ресторанов; повышения по службе, прибавки к жалованью льются золотым дождем, небесной росой, бери не хочу. Волны карьеры за каких-нибудь пару лет возносят его на самую вершину. Ему завидуют все: как молод, а уже на ответственном посту!

Взвалив всю текучку на подобострастных и расторопных помощников и секретарей, он восседает в комфортабельном кабинете, визирует приносимые на подпись бумаги, обзванивает в свой черед кассы, правления, общества, в которых состоит непременным членом, и занимается тем делом, которое ему по душе. Никто его не погоняет, никто ему не указ. И слова поперек не скажет. На работу он приходит когда вздумается, уходит домой пораньше, чего засиживаться, недаром же начальник, может себе позволить.

С теми, кто выше его, — вице-директором или шеф-прокурисом, — зятю Сургениека найти общий язык труда не составляет. Нынче ночью же отправляемся в свадебный вояж — Берлин, Лондон, Париж, Рим . . . что там еще . . . крупнейшие библиотеки мира, в которых есть всё, что недоступно в Риге, к его услугам. Ну, Гризли, правда, не захочет корпеть над книгами, не по ней это, лучше шататься по театрикам, кафе-шантанам, ночным барам, ну что ж, тоже своего рода удовольствие.

Так почему же не он, а Душелис стоит у алтаря? Уступка ради верной дружбы? Дружба для Эпалта не пустой звук, отнюдь, но он все же не Сигурд Злой, который способен был уступить свою женщину . . . во имя дружбы. Может, его испугал строптивый нрав Гризельды? Тоже нет. Эпалт убежден, что сумел бы укротить ее и поладить с нею, он свято верит в свою способность находить общий язык с любым человеком, тем более с женщиной. И характер у него уживчивый. Что же на самом-то деле заставило его, Павла Эпалта, в тот самый роковой вечер с ходу, без размышлений, почти что инстинктивно оттолкнуть, отвергнуть ее? Действительно — что? Огромные каллы в руках у невесты нахально уставились ему в лицо и, дразня, высунули толстые желтые язычки . . .

И все-таки, когда она, Гризельда, главная надежда и опора его в обществе, стояла ныне у алтаря с Атисом Душелисом и многие, а больше всего сам Душелис, считали такой исход неудачей для Эпалта, хотя сейчас-то он всего лишь жалкий вольный студентка, мужлан, без видимых перспектив скорой карьеры, сам Эпалт испытывал странное удовлетворение от того, что все еще принадлежал самому себе.

Почувствовав внезапный прилив энергии, Эпалт выпрямился и тут только понял, что окончательно замерз. Через высокое заалтарное окно, кое-где заколоченное фанерой, прорывался северный ветер, обдувая морозным дыханием свечи и взвихривая сонм мелких снежинок. Благо еще от свечей — трех впереди и трех сзади — исходил теплый легкий смрад. Эпалт бросил взгляд на прочих маршалков. Герой Спрукулис, весь синий, вел последний отчаянный бой с морозом. А голоплечие подружки? Господи, смилостивься над ними, ибо они не ведают, что творят!

«Да» и с той и с другой стороны упало, как лепта в жертвенный сосуд, — слава всевышнему, звучат последние хоралы! Молодожены поворачиваются лицом к публике. Невеста запутывается в шлейфе и пинает его изящной туфелькой. Эпалт наклоняется, чтобы помочь ей; застоявшийся крестец трещит так, будто заледеневшее тело разламывается пополам. В церкви гремит свадебный марш Лоэнгрина. И снова одиннадцать златоносцев и один непричастный к ним прогибаются за светильниками двенадцать рук, негнувшихся, как лощманские багры. Но человек, и это просто чудо, может выдержать многое: пальцы, хотя и медленно, сгибаются, обхватывая подсвечники. Процессия трогается. Как контрастно невеста в белом выделяется на фоне спутников в черном и подружек в розовом!

Бррр! Снова пронизывающий ветер. Рычат автомобили. Синие пальцы извлекают из-под фалд фраков, из брючных карманов плоские фляжки коньяка и рома. Заметно повеселевшие маршалки высаживаются в центре города у самого шикарного фотоателье, знаменитого своими свадебными фотографиями.

Вот незадача! Выясняется, что маршалки ненароком закапали фракы стеарином. Те, кто поопытнее, держали светильники в вытянутой руке и остались чистенькими, теперь они посмеиваются и зубоскалят над коллегами, конечно, насколько позволяют задубелые губы.

Фотограф развивает бурную деятельность, носится взад-вперед, вьется ужом, группирует снимающихся, командует, упрощает, напоминает, как себя вести перед объективом, трещит улыбок. Заставляет жениха и невесту склониться головами, словно они умирают с голоду, и глядеть исподлобья, потом припасть друг к другу, как вспугнутые заговорщики, и в довершение всего так выворачивает

им головы, что слышен хруст шейных позвонков, и суженные закатывают глаза, усиленно пытаются заглянуть друг другу в лицо.

«А теперь подружки с маршалками! А теперь одни подружки! А теперь только маршалки!» — покрикивает фотограф, словно в него вселилась нечистая сила, и принимается было опять расставлять всех по местам, но расфранченные господа споро выстраиваются в плотный ряд, в совершенно одинаковых позах: выставив вперед левую ногу, чуток присев на правую, вскинув голову, приклеив улыбки, судорожно смяв в левой руке белые перчатки. Эпалт пытался сказать, что не мешало бы встать повольнее, но кубезельцам фотографироваться не впервой, традиции блюдут свято, а ты, бедный дичок, печальный и нахохлившийся, так и выйдешь на снимке странным и лишним придатком к четкому строю бравых кубезельских молодцев.

\*

Большая квартира Сургениеков гудела от гостей. Банкиры и банковские служащие, торговцы, владельцы пароходных компаний, биржевые маклеры, адвокаты, изредка попадались и врачи. Все больше в летах, из поколения Сургениека, в старомодных смокингах, кое-кто даже в длинных визитках, у всех толстые цепочки от золотых часов в жилетном кармашке и массивные, широкие обручальные кольца.

Каждая эпоха, каждый край формирует свой тип человека; главная группа гостей отличалась разительным единообразием. Это были люди, родившиеся в семидесятых годах, со сходной карьерой — от младших хозяйских сыновей, голяков с Лифляндской возвышенности или с берегов Даугавы, до собственных магазинов и контор или теплых местечек в Риге. Характеры эти ковались в похожих обстоятельствах, в борьбе с одинаковыми преградами. И по образованию они были более или менее равны; многие — из семинаристов-буршей, что тоже накладывало свой особый отпечаток. Люди этого поколения телосложением напоминали приземистых, но невероятно выносливых эстонских лошадей — росту среднего, осанистые, бочкообразные туловища, толстые, вросшие в плечи шеи, широкие самодовольные лица, говорят громко и безапелляционно и всегда упрямо стоят на своем. Их отличала скупость, строгость нравов, учение гернгутеров и семинарское воспитание все еще давали себя знать в этом поколении уроженцев Видземе. И хотя громадная жизненная энергия и упорство подчас заставляли кое-кого из них восставать против закона или морали, они умели перебороть себя, и самые злые языки не смогли бы назвать среди них никого, кто бы украл, растратил чужое добро или промотал свое, занимался подделками или хотя бы просто бросил свою жену. Всем этим в эпоху политических комбинаций вовсю занимались их сыновья, отцов же ничто не могло сбить с пути истинного.

Таков был и старый Душелис. Правда, среди здешней публики он достиг в жизни меньше всего — держал мелочную лавку возле Матвеевского кладбища, то есть находился на той ступени, с которой большой человек Сургениек начинал свое восхождение. Но теперь, когда его сын замкнул круг, соединив нижнюю ступень общественной лестницы с верхней, ничто не мешало старику смело глядеть в глаза присутствующим, дружески пожимать протянутые руки и чокаться со всеми подряд. Многих из них он не видел с детства, но знал едва ли не всех. От частых тостов круглое лицо старого Душелиса

стало фиолетово-красным, покраснела и его совершенно голая лысина, напоминавшая по форме свеклу. В самом что ни на есть благодушном настроении он колыхался в гуще толпы, как сигнальный буй на волнах, успевая каждому что-то сказать, но ни с кем подолгу не задерживаясь.

Госпожа Сургениек бросала на него злые взгляды, наблюдая, с каким радушием и самодовольством он держит себя с ее гостями, а Сургениек хлопал его по плечу и называл «старинной». Сам Сургениек был родом с побережья и являл собой совершенно иной тип. Он принадлежал к славному племени капитанов и владельцев парусников Видземского взморья, бородатых морских волков, гигантов во всем — и в стати, и в удалстве, и в прожигании жизни. Старый капитан Сургениек был богач и мот, но однажды весною его добро, вверенное ненадежной стихии, затонуло в бурю в Северном море вместе с хозяином. На суше он не оставил ни гроша, а что такое страховка, в ту пору никто не знал, и восемнадцатилетний сын унаследовал от отца разве что его воистину баронские замашки и смелую, самоуверенную повадку.

Это немало, но недостаточно, чтобы выйти победителем из жизненных передраг. Но Сургениек унаследовал кое-что и от матери — красоту, представительность, чарующую обходительность и умение вмиг покорять сердца. Подруги Давида Сургениека помнили его в молодости и находили, что был он даже красивее своего сына Висвальда. Но в то время как сын, мрачный и замкнутый, порой ироничный, желал только отдавать приказания и распоряжаться людьми, отец умел привлечь к себе шуткой, подстегнуть уловкой, расположить радушием, так что никто не мог ему ни в чем отказать. И не только очевидицы и подруженьки дней его юности, от которых он подчас слишком многого желал, подчинялись его воле и впоследствии никогда не сетовали на судьбу и не злословили о нем, но и ревнивые юнцы и даже подозрительные старцы редко могли устоять перед шармом молодцеватого капитанского сына.

Пережив крах семейного благополучия, Давид не стал устраиваться матросом на судно к какому-нибудь отцовскому приятелю, но приехал в Ригу и поступил в магазин. Дочь принципала, известная на все Задвинье гордячка и недотрога, всего только два месяца сопротивлялась смешливому и нахальному ученику магазинщика, а на третий месяц пошла с ним под венец. У отца Давида приятелей было пруд пруди — в те времена дружбе оставались верны дольше, чем сейчас, — и Давид стал посредничать и совершать сделки, сначала с мореплавателями, а потом и всякие. Он был сметливый и предприимчивый парень, а жена — упорной и настойчивой. Он шел на риск и выигрывал, а она собирала дивиденды и прятала их в кубышку.

В тридцать лет Сургениек уже считался богатым человеком и жил на широкую ногу, получше чем когда-то отец. И вот ныне великолепнее его дома нет во всей Риге, его застолье самое щедрое, его сын — самый большой транжира, капризнее его дочери не сыскать никого, и один из ее капризов — этот роскошный пир, эта свадьба с каким-то студентом.

Но Сургениек и это может себе позволить. Он всем покажет, как из ничего делают человека; погодите пару месяцев, и вы увидите, во что превратится зять Сургениека: шляпу будете снимать подобострастно перед молодым и элегантным финансистом, который,

только что пустив в оборот несколько тысяч латов, с аристократической рассеянностью хлопает дверцей своего спортивного автомобиля. Взгляните-ка, уже сегодня неизъяснимое спокойствие преобразило прежде столь нервические движения Душелиса и в туманных, как бы запотевших зрачках угадываются пронизательность и сарказм.

Сургениеки, хозяин и хозяйка, вращались в кругу гостей, как боевые слоны Дария среди легковооруженных лучников; в какую бы комнату они ни вошли, сияя как два майских солнышка, в ней становилось тесно от их необъятных телес.

Только один человек не терялся рядом с банкиром — почетный консул Либерии и Никарагуа, крупный торговец Феликс Майор. Его предки были прасолами, скупавшими барашков в Добеле, но уже на протяжении нескольких поколений семья торговала в Риге и в свое время едва не онемечилась. Как стеклянная линза собирает рассеянные лучи в зажигающий фокус, так могучий купеческий род все богатства и добродетели предков сосредоточил в одном своем последнем и самом влиятельном отпрыске. Громадного роста, но стройный и сухощавый, консул так выпячивал грудь и откидывал назад голову, что, казалось, вот-вот грохнется на спину. Его голова римского патриция возвышалась над всеми прочими, а чеканный, словно выбитый на медали, профиль резко контрастировал с бесформенным, рыхлым от добродушных улыбок лицом Сургениека.

Из-за своего высокого роста Майор почти что на всех смотрел сверху вниз, врубаясь подбородком между расставленными враскос уголками твердого воротничка. С нескрываемым презрением протыкал он каждого своим острым и холодно-стальным, как шампур, взглядом. Здороваясь, он никогда не улыбался, но смотрел или куда-то в сторону, или сквозь человека, в дальнюю точку пространства. Разговаривал отрывисто, чем задевал собеседника, часто вообще не отвечал на вопросы, казавшиеся ему недостаточно деловыми, только морщил чело. А отвечая, недвусмысленно давал понять, что беседа с ним, с Майором, делает партнеру честь. Лесть просителей и подхалимов выслушивал пренебрежительно, но горе тому, кто по неведению или забывчивости не назовет его господином консулом; такого консул не прощал никогда. Если перед ним унижались и умоляли его, что ж, давал, и щедро давал. Ему нравилось давать милостыню, и он умел это делать как никто — с изумительным жестом снисхождения. Благодарность отвергал с неприязнью, но каждый, кто рассчитывал, пресмыкаясь перед богатым консулом, заполучить у него что-нибудь еще раз, знал — нельзя лишать консула возможности с самым суровым видом отместить изъявления благодарности, и не однажды, а дважды, если не трижды.

Безупречно корректный с вышестоящими правительственными чиновниками, представителями крупных фирм, несколько ироничный в отношениях с равными себе, жесткий с подчиненными, полный неопишемого презрения к просителям, Майор с дамами вел себя как рыцарь, и всячески подчеркивал свое галантное обхождение. Натыкаясь на вежливый отказ, не мстил, а получая согласие, вознаграждал по-королевски. И пользовался успехом отнюдь не только из-за своих баснословных денег. Одевался он, как английский тори, и эта старомодная, безукоризненная и пресная, эlegantность дамам была по вкусу: мужчина такого склада еще мог быть настоящим джентльменом, чего никак нельзя было ожидать от современного,



спортивного типа, дельца или, скажем, художника-карьериста. Абсолютно белые пряди волос эффектно чередовались с абсолютно черными и в некотором беспорядке, хорошо рассчитанном беспорядке, ниспадали на высокий лоб.

При виде красивой женщины твердоскулое бронзовое лицо консула совершенно застывало, пронзительные глаза загорались хищным огоньком, и он скользил буравящим взглядом по дамской фигурке с наглостью опытного оценщика и знатока. Это был мужчина интересный, но неотразимым его делало богатство, о подлинных размерах которого не догадывались даже налоговые инспектора. Его торговый дом — Мэйор, разумеется, был оптовиком — поддерживал такие тесные связи с чужездальными странами и бесчисленными зарубежными фирмами, как никакой другой во всей Риге, но единственными приметамы этого делового размаха служили две небольшие консульские эмблемы над парадными дверьми занимаемого предприятием здания и маленькая медная дощечка над входом в главную контору.

Его дома выходили на улицу гладкими и неприметными фасадами, но за оградой, за дворами и заборами, высились огромные семизатные корпуса. Он участвовал во многих синдикатах и частенько держал контрольный пакет акций, предпочитая, однако, везде и всюду оставаться в тени. Его похождения с женщинами были окутаны таким же покровом тайны, как и его доходы, но все понимали, что их немало. Мэйор мог оплатить любую тайну, и это была лучшая реклама его имени, хотя, конечно, и дорогостоящая.

В жизни Мэйора была, однако, трагедия, и она заключалась в том, что на маленькой медной дощечке у входа в контору он не мог выгравировать «Конс. Мэйор и сын». Племянника Вилибальда консул недолюбливал — все-таки не его кровь. Единственная дочь, к которой он с самого начала относился с каким-то равнодушием, не стала, разумеется, ему ближе от того, что продолжала тянуть волынку с замужеством и все больше смахивала на перспективную старую деву. Когда отец говорил с дочерью, в его голосе обыкновенно звучали досада и нетерпимость, а в ее — упрек или, того хуже, обида до слез. Жену, происходившую из семьи рижских немцев и родившую ему хилое дитя, а на большее не способную, Мэйор просто ненавидел. Женился он в ту несчастливую пору, когда среди некоторой части латышских обывателей взять в жены чистокровную немку считалось престижно и почетно. Обе женщины выступали против консула единым фронтом, и дом подчас переходил на военное положение. Но внешне всё выглядело пристойно, и пусть Господь смилостивится над теми, кто посмеет не выказать обеим дамам подобающее уважение. Нынче вечером все заметили, что Мэйоры буквально не отходят друг от друга.

Наконец оба денежных туза встретились в одном из тихих уголков зала. Тотчас перед ними как из-под земли выросла прислуга с подносом. Одна из рюмок, утонув в могучих складках щек господина Сургениека, спустя мгновение нахально показала пятку летающему под потолком гипсовому амуру, в то время как другая только робко прикоснулась к беспокойным губам господина консула.

«Ну, Давид, — сказал он, — твоя дочь опередила брата. Что себе мальчишка думает?»

«Гм, гм, — Сургениек погрузил пальцы в мягкий подбородок, — опередила, это точно.

«Что он говорит?»

«Ничего».

«А ты?»

«Я? Я тоже ничего».

«Но что у тебя на уме?»

«Думаю, пора, это верно».

«Слушай, а что бы нам сегодня не объявить про помолвку, заодно?»

Сургениек задумчиво молчал.

«Нужна же в конце концов какая-то ясность. Девичья молодость — это не вексель, ее не продлишь».

«Я поговорю с сыном».

«Говорено-переговорено. Слишком много слов. Все только об этом и талдычат. Просто объявить — и точка».

«Так все же нельзя. Висвальд еще тот упрямец. Он не потерпит над собой никакого насилия».

«Упрямец! Знаю я этих нынешних мальцов. Упрямы-то они в пустяках. А возьми их в тиски, поставь перед перспективой скандала — вмиг спадут, как мехи. Ты бы в шутку пригрозил лишить его наследства — увидишь, как запоет».

«Нет, Феликс, в таких делах прибегать к угрозам негоже».

Он подозвал служанку: «Разыщите Висвальда».

«Ну, в общем, я надеюсь, за ужином мы кое-что услышим», — сказал консул и удалился.

Висвальд явился на зов раздраженный, ему было некогда. Сургениек толкнул сына в спальню матери, единственную комнату, куда сегодня не допускались гости, и тяжело присел на широченную, красного дерева кровать. Висвальд, стоя перед роскошным овальным трюмо, поправил прическу, галстук, повернулся боком, сунул руки в карманы, покачался на носках. Фрак сидел на нем превосходно. Как у киногероя.

«Ну, чего тебе?» — вымолвил он наконец.

Отец вздохнул.

«Висвальд, скажи мне откровенно, какие у тебя отношения с Ирисой?»

«С Ирисой? Никаких».

Он повернулся, чтобы уйти.

«Вот как — никаких? Она без пяти минут твоя невеста, а ты — никаких?»

«Невеста? Это вы мне ее прочите в невесты, а я тут ни при чем».

«Ты же сам с нею дружишь не первый год, она постоянно бывает в нашем доме, можно сказать, свой человек».

«Она к сестре приходит. Мы с ней уже давно не встречаемся».

«Ты отлично знаешь, что она приходит из-за тебя».

«По мне, как пришла — так ушла».

«Висвальд, нельзя дурачить людей, Майоров тем более».

«Слушай, отец, тебе очень надо именно сегодня толковать про все это? Гости ждут».

«Именно сегодня и именно сейчас! Я хочу объявить о твоём обручении».

Висвальд остолбенел. Потом взъерился.

«Ну, дорогой папаша, это все равно что составить счет за выпивку без кабатчика».

«Не все ли равно, когда объявить. Вы так или иначе поженитесь».

«Никогда».

«После всего, что было? А что люди судачат — это не в счет?»

«Она мне не нравится. А из-за людской молвы я жениться не намерен».

«Но она тебя любит, вы давние друзья, друзья детства, она образованная, утонченная девушка, безупречного поведения и репутации, богата наконец; я тебе определенно скажу, это самая богатая наследница во всей Риге».

«Отец, разве нам пристало говорить о богатых невестах? Нам, Сургениекам?»

«Нам? Ты еще очень молод, Висвальд, ты не знаешь, как быстро тает богатство одиноких семейств, если его не объединять с подобными же. Муж Гризельды никакая не партия. Моя семья получает лишнего иждивенца, мой банк — никому не нужного сотрудника с чрезмерно высоким окладом».

«Да, и зачем она за него вышла, ума не приложу».

«А я опять же ума не приложу, почему ты не женишься на Иресе».

«На завядшей и малахольной? Что тут непонятного?»

«Как долго тебе еще ходить в молодых-холостых, делать долги и точить ляды? Ты выдохнешься раньше, чем думаешь, и будешь бежать как от чумы от всех этих финтифлюшек и охотниц за богатыми женихами, которые сегодня так и шелестят, так и шуршат вокруг тебя; тогда тебе понадобится женщина, которая будет заниматься только тобой, женщина, в которой ты можешь быть уверен всегда и на все сто».

«Меня воротит от всей этой мещанской верности и сонного довольства. Ведь вся прелесть женщины как раз и заключена в этой неверности . . . в этой . . .»

«Так думают все лентяи и бездельники. Тебе некуда силушку девать, поработай с мое — вполовину, как я, в треть, и через неделю ты научишься ценить домашний покой и верную любовь. Ты рос слишком беззаботным, слишком счастливым и легкомысленным, чтобы это уразуметь. Как долго ты у нас в студентах ходишь?»

«О Господи! Завел старую пластинку. Хотя бы сегодня дал покой!»

«Тогда скажи прямо, что ты намерен делать?»

«На Иресе я не женюсь».

«У тебя есть другая?»

«Это неважно, но Ириса . . . ну, мне ее жаль, она женщина хорошая, добрая, я знаю, что водил ее за нос, это ей маленько повредило, да и злые языки, может быть, слегка ее компрометируют, но она же не голь перекатная, для которой каждый год в юности на вес золота и всякая сплетня плешь проедает, купит она себе хорошего мужа, успеет. Но ты пойми, чтобы всю жизнь жить с одной женщиной, ее надо хоть чуточку любить, хоть какое-то чувство к ней испытывать».

«А ты к ней ничего?»

«С тех пор как кумушки нас поженили, а кафешные сплетницы уже успели объявить меня обманщиком, она мне просто противна».

«И в глубине души у тебя нет такого чувства, что ты поступаешь неправильно?»

«Если бы так, я, пожалуй, возненавидел бы ее еще больше. Неужели Давид Сургениек, большой человек, хочет выменять на своего сына пару мешков с перцем или корицей или какой-нибудь обшарпанный доходный дом вроде казармы?»

«Ты совсем не в курсе, сынок, в скольких обществах, в скольких

предприятиях вложен капитал Мájора, банк сразу же обретет второе дыхание, иной кредит!»!

И, вздохнув, Сургениек с трудом поднялся с кровати.

«Ну, отец! Уж как-нибудь Сургениеки обойдутся без этих Мájоров, как обходились до сих пор! — воскликнул Висвальд, взяв отца за руку. — Пойдем же!»

«До сих пор, до сих пор; ты лучше скажи, как мы обойдемся без них в дальнейшем?» — пробормотал отец, но сын этого уже не слышал, его поглотила веселая суета гостиной.

\*

Едва отзвучали поздравления новобрачным, а значит, обязанности маршалков были исчерпаны, как Эпалт проскользнул в ванную комнату: все в бумажных прокладках, он буквально изнемогал от жары. И стал с остервенением вытаскивать из-за пазухи целые вороха газет. Две вещи не давали ему покоя. Он поздравлял молодоженов последним, рукопожатие Душелиса было вполне дружеским, хотя и не без нотки покаяния. Невеста же его просто не замечала, причем вызываяще, почти с оскорбительным пренебрежением. Иначе и быть не могло, другого он и не ждал, но переступить через это как ни в чем не бывало — тоже не мог. Второе дело было еще безнадежней. Эпалт пришел на эту свадьбу с тайной мыслью, не вполне отчетливой, но упорной. Он настойчиво протискивался между рядами гостей, ходил кругами и шастал повсюду, но напрасно: все, что ему удавалось, и то с трудом, — это уклоняться от встреч с Дагне. Той, что он искал, нигде не было.

Горечь разочарования, прямо слезы наворачиваются. — Что делать? — думал он, присев на краешек ванны. — После полуночи Гризли с мужем отправятся в свадебное путешествие. Веселая толпа сургениекских гостей рассеется, и навсегда. По-прежнему наносить визиты? Кому теперь — Дагне? Той самой Дагне, которой он избегал и чьи радушие и безропотная услужливость его подавляли? Попробовать затесаться в компанию дружков Висвальда, согласившись на роль философа-резонера, мудрого скептика, а может, точнее — шута? Как быть? Проникнуть в «Кубезелию», чтобы потихоньку, маленькими шажками делать карьеру, или же — отступить под сень книжного собрания, похоронить себя в библиотеке и довольствоваться бесцветной участью собирателя гербария, книжного червя?

Суета, гомон — все сливалось в однообразный шум, равнодушный и страшный, как шум прибора. Где же та цель, ради которой стоило идти к людям, бороться упоенно, отчаянно, где стимул? Действительно, порою кажется, что все в мире только суета сует и вечное коловращение, без смысла и проблеска. И разве надежда, что побудила его прийти на эту свадьбу, не оказалась обманчивым огоньком, самым предательским миражом из всех?

Он вышел в залу. Толчея. Калейдоскоп восклицаний, обращений, жестов, образов, красок, запахов и улыбок оглушал и пьянил. Увидев слугу с напитками, он схватил с подноса стакан вина и с решимостью поднес к губам, но вдруг его обдало жаром, как из пышущего жерла, — в другом углу комнаты он увидел, узнал невысокую девушку, она стояла к нему спиной и беседовала с Висвальдом. На ней было платье из той же розовой тафты, что и у подружек невесты, но более скромного покроя, без газовых плечиков, оно на удивление хорошо смотрелось на ее изящной и стройной фигурке и прекрасно гармонировало с кожей цвета слоновой кости. Гибкий стан, чистая

линия шеи, хрупкие, но сильные плечи, привлекательная осиная талия — так и хочется положить на нее руку и повести в танце... Девушка остро, невыразимо, до боли в груди нравилась Эпалту, у него перехватило дыхание.

Потрясенный, взволнованный, он весь дрожал и таял. Белая лилейная шейка ослепляла, завораживала, он был готов смотреть на нее до бесконечности. Какое, видимо, это счастье прикоснуться к ней губами, почувствовать неизъяснимый вкус нежной кожицы... Ведь он любит эту девушку, чье лицо ему даже как следует незнакомо, он искал ее везде, все это время искал ее. О, теперь он знает, ради чего отверг Гризельду, почему его угнетает любезное обхождение Дагне. Праздничный гомон и шум удесятерились — он стоял как во сне. Дом Сургениевых превратился в сказочную сцену, где разыгрывалась мистическая феерия. Люди сновали как тени, скользили, говорили, кивали, окружали друг друга и растворялись в воздухе...

Висвальда позвали, он извинился. Девушка повернулась на тонких каблучках и прошла рядом с Эпалтом, мимо него. Он невольно зажмурился, словно от яркого света. Ее блестящие светлые локоны отсвечивали нимбом, излучая какую-то ауру, и цветом почти сливались с белизной высокого лба. Розовые, округлые, бесконечно милые губки оттеняли личико, такое спокойное и ясное, как непотревоженная совесть, очень светлое и нежное, словно обрызганное лучами солнца. И вдруг она метнула на него колющий взгляд из-под длинных ресниц, необыкновенно сосредоточенный и хмурый, так странно, так очаровательно не сочетавшийся с воздушной легкостью ее облика и стана. Эпалта будто бичом хлестнуло, резко, безжалостно, а ее и след простыл.

Эпалт отрешенно смотрел на стакан с вином, где мерцала светящаяся золотистая капля. Николина. Такой она являлась ему в мечтах и видениях, и полное единство яви со сном ошарашивало — то был знак судьбы. Он видел ее второй раз, она его узнала. Хотя она посмотрела на него мельком, ее суровый взгляд не был случайным. Эпалт улыбался. Он прикрыл глаза, стараясь вызвать в памяти личико Николины, снова им восхититься. Но с ужасом понял, что не помнит почему-то ни линии губ, ни очертаний подбородка, ни формы милого носика. А глаза — какие они: синие, карие, серые? В памяти запечатлелся только удивительно нежный и светлый овал лица, серьезный и мрачный взгляд, который мог быть... должен был стать ласковым и мягким. Да узнал бы он, в самом деле, Николину, повстречайся она ему на улице, в толпе? Узнал бы? Что за безрассудная мысль! Угадал, ощутил шестым чувством наконец!

На него снизошел покой, нирвана, его проняла счастливая дрожь. Так, наверное, чувствовал себя первопроходец, который месяцами пробирался сквозь заросли джунглей и болотные топи, карабкался по кручам и грудам развалин, пока в неожиданно открывшемся просвете не увидел долгожданный великий Пзсифик, величаво застывший в немоте и стальной синевой отливающий в солнечных бликах. И замирает сердце пионера — он полюбил бы этот Тихий океан и молился на него и тогда, если бы зеркальную водную гладь терзала самая свирепая буря. Цель счастливо достигнута — окончен большой путь.

Но странно, в то же самое время он маялся лихорадкой, волнением и тревогой. Точно молоденький кадет, только что выпущенный из училища, где его муштровали на учебных полигонах, и теперь

ждуший в окопе сигнала к наступлению. Ремни впиаются в плечи, ворот суконной шинели стискивает шею (он сдвинул в сторону твердый воротничок фрака), ладони сжимают ручную гранату — какое смешное оружие, просто игрушка в борьбе со всеми силами ада, что ждут его там, за бруствером. (Он посмотрел на дрожащий в руке бокал вина.) А-а, взрыв! Ураганный огонь! Грохот — качнулось пространство. Звуки просвистывают комнаты насквозь, лопаются над столами, клубятся вдоль стен. Внутри что-то обрывается — сокрушительно гремит оркестр. Вперед! Не чувствуя под собою ног, Эпалт кинулся в танцевальный зал.

Кто-то схватил его за локоть. Дагне. Вот и слава Богу. Он очухался, слегка поостыл. Иначе натворил бы дел. К тому же оркестр играл уже и не танцевальную мелодию, а бравурный марш, приглашая гостей к столу. Потерев лоб, он встряхнулся, скинул с себя наваждение и снова овладел ситуацией, опять узнавал людей. Улыбнулся Дагне, позволил увести себя в столовую.

С чувством раздражения и отвращения взирал он на богато сервированный стол, уставленный холодными закусками, с которых начиналось это торжество. На огромных плоских блюдах возлежали индюшки и гуси в окружении рябчиков и прочей мелкой дичи. Зарумяненный копченый подсувинок выставил свои нежные и мягкие бока: громадные рыбины, остроконечные, как торпеды, рассекали длинный прямоугольник стола, кивая гостям головой с разинутой пастью, из которой торчали пучки кресс-салата и петрушки. Винегретные чаши, топи холодцов, гряды филея и языков... бутылки, бутылки, бутылки.

Мелькнуло около девяноста салфеток, накрыв сто восемьдесят коленай. Сто восемьдесят рук схватили ножи и вилки, которые, сверкнув металлом, нацелились на тарелки, как байонеты перед атакой. Мгновением позже стол являл собой картину ближнего штыкового боя. Вилки с хрустом вонзались в мясную поджарку и живописную плоть рыбы; ножи, скрипя о жилы, отделяли от тушек дичи конечность за конечностью, наносили глубокие раны свиным окорокам и жаркому из косули и с шипением входили в паштеты. Ложки углублялись в миски с мясным салатом, зачерпывали майонезы, захватывали винегреты, словно мастерком ляпали сметану, брали в плен проворных маринованных боровичков. Звяканье металла, стук фарфора, шлепанье ломтиков мяса, шмяканье картофелин и горошка, шуршанье салатов и капусты, хлопанье пробок, перезвон хрусталя, бульканье вина, шипенье лимонадов и сельтерской, клцанье зубов, шамканье губ, хлебанье, кряхтенье и придыханье сотрясали воздух столовой, напоенный ароматами хрена, горчицы, уксуса, гвоздики, лаврового листа, копченостей и горькой. Но это было только начало. Появились официанты с дымящимися блюдами — стали подавать горячее...

Эпалту кусок не лез в горло. Он не слышал бесконечных тостов за здоровье молодых, ни черта не понимал в речах филистров — старших членов «Кубезелии», этих докторов, профессоров, прокуроров, а также кое-кого из юных златоносцев, которые только учились на адвоката или проповедника. Во всех выступлениях было нечто общее: о бедном женихе никто и словом не обмолвился, будто его тут и не было, зато градом щедрых похвал осыпали банкира, его супругу, «Кубезелию», «Сидробонию», немалая толика фирмиама перепала и Гризли.

Эпалт не знал, куда глаза девать. Что бы он ни делал, куда бы ни смотрел, все его поведение казалось ему самому вызывающе нескромным, до непристойности. На том конце стола сидела Николина — между гувернером Шетурином и Имантом. Слава тебе Господи! Оба они неопасны. Но как там очутился Висвальд? Висвальд, которому надлежало быть здесь, подле Ирисы? Это же скандал! Бросить сестру невесты, которая шла с ним в паре! Ну да — Ириса Майор, потупившись, уставилась в пустую тарелку, бледные губы плотно сжаты, как створки капкана. Обычно малоразговорчивый, Висвальд треплется и шутит без передышки. Николина улыбается. Что смешного в этом дурацком пустомельстве? Ага, наконец-то сама госпожа Сургениек обдала их своим тяжелым ледяным взглядом. Висвальд опомнился и вернулся на место. Ириса кисло улыбнулась. Висвальд замкнулся и принялся за содержимое бутылки. Но вы только посмотрите, как просиял внезапно Шетурин — раскрасневшиеся щеки, взлохмаченные волосы, белозубая счастливая улыбка. Надолго ли? . .

Николина и впрямь очаровательна, даже слишком. Начисто лишена надменности профессиональных красоток, умеющих на тысячи ладов кривить губки в ухмылках, улыбках, насмешках и усмешечках, с лукавым выражением лица строить глазки, прищуриваться со значением, томно жмуриться, беспомощно моргать, — она всем этим не владеет, и брови у нее не насурмленные и не выщипанные, веки не подсинены, рот не сложен сердечком, намалеванным киноварью; в ней нет ни грана кокетства, которое Эпалт так ценил в женщинах и вместе с тем побаивался, — и все же она звезда. Своей безыскусной простотой, неподдельной живостью; она — само чудо и нежность чистой юности, и рядом с ней меркнут ослепительные, стройные, гибкие, остроумные, с ожерельем на шее, с серьгами в ушах, с перстнями подружки невесты, да и сама цветущая невеста во всей ее обольстительной женской красе. Больше того, их прелесть и блеск только подчеркивают красоту Николины. Подобно тому, как герцоги в атласных одеяниях, маркизы в аксельбантах, генералы при орденах и адмиралы в позументах составляют великолепный фон для благороднейшего повелителя, скромного, безо всяких крестов и звезд, Николина казалась принцессой в окружении блистательного двора.

Скоро всем станет ясно, что этот день воистину триумф Николины. Это ее первый бал, первый выход в свет, и многие будут искренне желать, чтобы он был и последним. Но сама Николина держится совершенно спокойно, даже смиренно, и только очень внимательный наблюдатель может уловить в ней капельку гордости за свой успех. Ей несвойственно вертеть язычком и фехтовать остротами, однако же к ней обращаются наперебой, и она постепенно становится центром притяжения за столом. Смущается ли она при этом? Ответы ее лаконичны и простодушны, но сердечная искренность красивой девушки пленительна и неотразима. Если острота, отпускаемая каким-нибудь поднаторевшим во флирте кубезельцем, слишком замысловата или чересчур смела, она одарит его лучистым взглядом, улыбнется краешком губ и плавно наклонит светлую головку к кому-нибудь из сидящих рядом, — и вот наш плутишка, к вящей радости прочих лукавцев, потерпел поражение. Прекрасной женщине достаточно того, что она есть, и маленькая шельма успела это уразуметь всего за каких-нибудь полчаса. Ей, чтобы сверкать в обществе, не нужны потуги исчервленного всей мировой мудростью ума. Самый

опытный мудрец и скептик будет чувствовать себя на седьмом небе от счастья, если такая девушка снисходительно позволит ему расстелить у ее ног роскошный ковер парадоксов и афоризмов, чтобы ступать по нему легкими невесомыми шажками своих узеньких стоп.

«Кто бы мог подумать, Николина — и такая воображала, — сказала Дагне, не дождавшись от Эпалта за весь вечер ни единого слова, — сестра пригласила ее в подружки, а она заявила, что не подойдет обществу сидробонянок. Когда от штуки тафты, которую отец специально купил, чтобы всем подружкам вышли одинаковые платья, остался порядочный отрез и мы хотели подарить его Николине, — она опять отказалась. И знаешь, кто ее уговорил? — Имик».

«Имка? Парень хват!»

«Нет, вы подумайте! Другая умерла бы от счастья, имей она такое платье, а эту Николину еще и уговаривать пришлось. И потом — она шьет по-своему, чтобы не как у всех, ей и портниху предлагали, а она, понимаете, сама что-то такое совсем простенькое сочинила. Это все потому, что нос кверху. Она завидует нашему богатству. Вот и за столом могла бы вести себя как-нибудь не так».

«А как? — воскликнул Эпалт с нескрываемым возмущением. — Разве она не села на самое скромное место, среди домочадцев? Или она кого-нибудь . . .»

«Она вам тоже нравится. Думаете, я не вижу?» — перебила его Дагне и больше ни слова не вымолвила до самого окончания трапезы.

\*

Гости наконец встают. Расставляются ломберные столики. В зале гремит музыка. Первый танец за соседкой по столу. От второго тоже не удается уклониться. Наконец кто-то окликает Дагне, и Эпалт мигом растворяется в толпе.

Только что кончился танец. Николина присаживается. Окружающие расступаются, мгновение он видит ее одну. Одна. Бесценный миг. Но первая мысль Эпалта — бежать без оглядки. Сосунок! Первоклашка! Чертыхнувшись и взяв себя, правда с трудом, в руки, он решительными шагами направляется к ней через весь зал.

Невероятно. Он будто разучился ходить. Боится поскользнуться, упасть. Паркет коварен, как лед. Что это все смотрят ему под ноги? Какая у него вихляющая походка. Дьявол, ну и широченный зал! Держись, держись, Павел. Соберись, припомни свои лучшие шуточки, блистательные фразы, смешные словечки, теперь они тебе нужнее, чем когда-либо. Ты должен превзойти в остроумии всех, всех! В голове пусто, как назло . . .

«Уважаемая Николина . . . э . . . мадемуазель Буйвид, — пробормотал он, запинаясь и прерывисто дыша, — мы ведь еще не совсем знакомы, хотя уже довольно долго бываем . . . м-м . . . м . . . под одной крышей».

«Да, мы незнакомы», — отрезала Николина, окинув его мрачным, но спокойным и ясным взглядом. В этих глазах можно было прочесть все что угодно, но только не желание знакомиться.

Эпалт смешался, развел руками.

«Значит, пойду поищу кого-нибудь, кто нас познакомит», — пробубнил он упавшим голосом.

«Поищите», — промолвила она презрительно и равнодушно и уже было собралась повернуться к соседке.



Эпалт не мигая смотрел в разверзшуюся пустоту. С отчаянья ему казалось, что пол под ним проваливается. Борись! Не сдавайся! — мелькнуло в голове. С кем, как, за что? Слона, который хочет меня затоптать, я укушу за пятку, саблю отведу кулаком, а тут... Тут на каминной подставке, над головами сидящих, он увидел вереницу фарфоровых фигурок. Схватив первую попавшуюся, это оказалась обезьяна, он протянул ее Николине.

«Вам не знакома эта мартышка? Вы ежедневно с ней встречаетесь, проходя через эту комнату. Послушайте, что она говорит: Павел Эпалт, человек из толпы, Николина Буйвид, самая прелестная дама сегодняшнего вечера. Очень приятно!»

«Ваша обезьянка зажимает рот рукой и вовсе не желает нас знакомить».

Опять неудача! Известная троица — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.

«Она посылает вам воздушный поцелуй. Бедное животное не обучено умерять свои чувства сообразно обстановке, а ваш суровый взгляд ее просто уничтожает. Посмотрите, какой у нее печальный вид».

«Станешь печальным, если заставляют делать то, чего тебе не хочется».

«Но еще грустнее не делать то, чего хочется».

«Вы, наверное, привыкли потакать своим прихотям».

«Стараюсь. Мне никогда не приходилось сожалеть о содеянном, но упущенные возможности повергают меня в отчаянье».

«И теперь вы ни одной не упускаете?»

«Может быть, на сей раз совсем наоборот. Упускаю все до единой, кроме одной».

«Лучше хватайте все подряд, а эту единственную оставьте в покое. — Она поднялась, чтобы уйти. — Не повторяйте большой ошибки».

«Большую ошибку можно исправить только большим безрассудством».

«Большое безрассудство на поверку часто оказывается маленьким промахом».

«Вам легко меня урезонивать, вы просто выворачиваете наизнанку все, что я говорю. Но это все равно что бить лежачего».

«Коль вы лежите, — услышал Эпалт у себя над ухом язвительный бас Висвальда, — разрешите мне пригласить вашу даму на танец».

С любезно-ироничной улыбкой Висвальд увел Николину у него из-под носа. Оркестр действительно уже какое-то время наяривал фокстрот.

Эпалта душил гнев. Он злился на самого себя. Целый букет глупостей! Простое знакомство на балу превратил чуть ли не в мелодраму. А это банальное «безрассудство», да еще с таким пафосом! Стыд и позор! И потом — так неуклюже, так по-дурацки раскрыться. Поди приударь теперь за девушкой, если уже заранее обнаружил свои намерения. Мол, я тебя полоню. Стоит человеку хоть на миг утратить самообладание, хладнокровие, самоиронию, как он становится беспомощным и ранимым. Вот Висвальд, тот сразу нашелся и выставил его в смешном свете. Просто беда, — сокрушался Эпалт, — ведь все считают меня остроумным и находчивым, не теряющимся ни при каких обстоятельствах. До сих пор мне везло, но одно громкое поражение может все испортить, свести на нет все победы и с таким трудом завоеванную репутацию. И что от

меня останется? Если все поймут, что меня столь же легко уязвить, как и других, придется уносить ноги вслед за графом Нос де Сопляем. Проклятье! Николина улыбается, да еще как! Ну да, это же Висвальд. Самый красивый, самый богатый из всей стаи, чье имя у всех на устах. Элегантный и галантный, самый элегантный и галантный, это надо признать. Он заметно под градусом; но это лишь приумножает его отвагу и проворство. А некоторым женщинам как раз нравятся подвыпившие мужчины. Как легко и ритмично он скользит по паркету. Глянь-ка, глянь-ка, рука, обнимающая Николину за осиную талию, кажется, слишком многое себе позволяет?

Оркестр умолк. Висвальд целует белые пальчики. Подонок! И она еще рассыпается в благодарностях. Он аплодирует. Довольно, довольно, натанцевались! А эти оркестранты знай себе ухмыляются, рожки каторжные. Висвальд по-хозяйски улыбается им, кивает, музыканты снова принимаются дуть, брэнчать и пиликать. Как покорна Николина в сильных руках Висвальда, как он прижимает ее к себе. . . Провались они в ад!

Это было ужасно. Эпалт судорожно глотал воздух. Если каждый шаг Николины будет отзываться в нем такой болью, жизнь превратится в сплошное мучение. Висвальд уже давненько ошивается в кабинете. . . Смешно и думать, конечно, что мужчина, однажды увидевший Николину, не захотел бы ее.

На мгновение Эпалта пронзила гордость за собственную проницательность; он не ошибся на ее счет, он не станет за такой бегать. — Счастье, что она родственница Висвальда, дальняя правда, но все же родственница, и притом бедная. Между бедными и богатыми родственниками ничего не получается, это закон. По крайней мере мать Висвальда этого не допустит; она женщина земная и с характером. Но сынок-то, взбесившийся красавчик, просто непредсказуем. Никогда себе ни в чем не отказывал.

Перед Эпалтом вырос Шетуринь. Как странно, он вращал головой так, словно у них с Эпалтом была общая шея, — хе-хе, этот глупец тоже следит за каждым движением Николины! Бедный домашний учитель, уже даже Имка зубоскалит по его поводу! Он-то ладно! — ну а остальные студенты, пьющие, танцующие, в общем гуляющие на свадьбе в доме Сургениека? Нет, они не возьмут невесту без приданого, но почему бы не побаловаться, всякий не прочь. И все они такие молодцеватые, смелые, предприимчивые, упорные, особенно сейчас, навеселе. Как же тут прикажете бороться, чем их одолеть? Все преимущества на их стороне. Он даже танцевать как следует не умеет. Правда, для Дагне его умения хватит, но ведь Николина порхает, как мотылек. И где она только этому выучилась?

Танец окончен. Вокруг Николины собирается кружок. Даже поистершийся хлыщ Майор тут как тут. Этому древнему сладострастнику что от нее нужно, от молоденькой-то и целомудренной девушки? Ступай прочь, к старой жене! На загорелых щеках появляются глубокие морщины, как у американских президентов. Сие означает, что консул изволит улыбаться. Седые виски, крутой лоб, резкие черты лица, действительно голова, не лишенная интереса. А как любезен этот высококомерный старый хрыч! Что это Николина смеется? Совсем неприлично. Успех на балу явно вскружил ей голову.

Майор отходит прочь. Давно бы так. Николина слишком юна для него, намного моложе Ирисы. Молодые люди снова взяли Николину в плотное кольцо. Не присоединиться ли к их кружку? Бороться, драться с ними за каждый танец, за каждую улыбку? Нет. У Эпалта,

знаете, свои методы. В конце концов это даже хорошо, что из первого разговора ничего не вышло. Очень хорошо, что он обнаружил свои намерения и нарочно затруднил себе путь к цели. Кто бы другой на такое осмелился? Он все-таки необыкновенный человек. Уже в тот, первый вечер у Сургениеков — тогда, в кабинете, он выделялся на общем фоне, пускай пакостями, но выделялся. Это, знаете, первая заповедь Павла Эпалта: порazi воображение, будь выскочкой, да-да, нагличай, будь зловредным, испорченным, а хоть бы и грубым, если не можешь иначе, но только порazi, порazi до глубины души! Пусть тебя запомнят: заставить думать о себе — это половина успеха. Взбудоражить девушку, взволновать, даже довести до слез, — а вот и вторая половина! О, если бы Николина по нем рыдала! Хоть бы одну слезинку уронила. Отче небесный! То-то был бы праздник на нашей улице!

На самом деле все идет как по маслу. Только спокойствие. Спокойствие, мужество, крепость духа. Что? Он не умеет танцевать? Через месяц он будет танцевать лучше всех в этом зале!

Полный решимости и энергии, Эпалт невозмутимо, сохраняя достоинство, вышел в смежную комнату. К нему подбежала Дагне, на лице не то упрек, не то прощение. Хорошая девушка. Он будет с ней вежлив, он должен быть обходителен со всеми, нельзя перекрывать себе пути, ни одной тропинки, ибо в этом доме работает Николина. Ни-ко-ли-на.

\*

Душелиса и взаправду сегодня не узнать. Походка твердая, ступает почти так же надменно и прямо, как либерийский консул. Кое-кто над ним посмеивается, но Душелиса это не трогает. Пожелания счастья принимает с любезною миной, но сухо, едва ли не выскомерно. Занят гостями и потому не может уделять жене столько внимания, сколько ей бы хотелось.

«Да. да. Сейчас, сейчас. Одну минуточку», — вот и все, что она слышит, когда хватает мужа под локоть. Наконец они усаживаются во главе стола, и Гризли извергает целую кучу распоряжений, советов и вопросов, поднакопившихся за несколько часов, но — Душелис кладет свои холодные узловатые пальцы на ее округлые горячие руки:

«Погоди, не теперь».

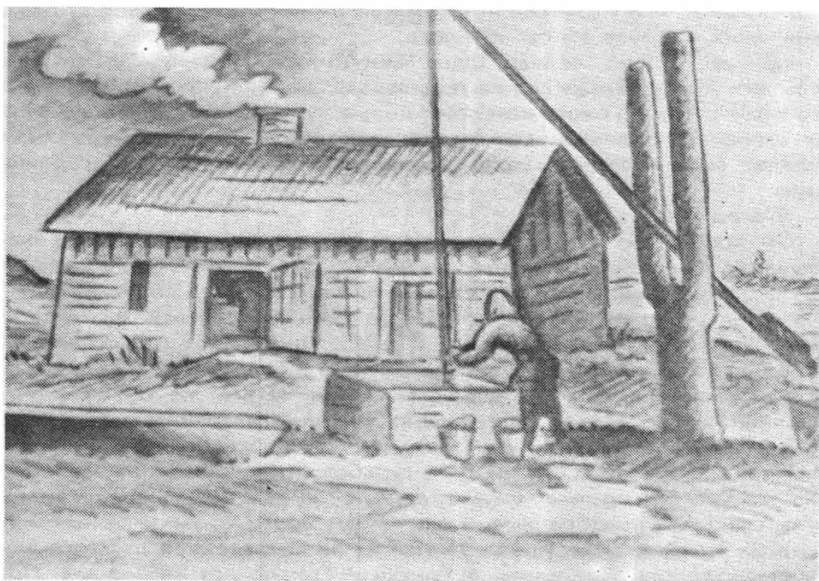
Он произносит это необычайно ровно, во взгляде странная, небывалая чинность и вежливая твердость, не допускающая никаких возражений. Гризли по старой привычке вскипает, надувает губы, но вдруг вспоминает, что сидит на слишком заметном месте и надо вести себя соответственно. В душе, однако, она твердо решает предъявить мужу счет за все, за каждую мелочь и взгреть его как следует при первом же удобном случае. И все же безмятежное спокойствие прежде столь пугливого Душелиса внушает ей некоторые опасения.

После полуночи гости шумной гурьбою идут провожать молодых на вокзал. В широком окне спального вагона фирмы Кука видны улыбающиеся новобрачные — они машут провожающим букетиками цветов и платочками. Поезд уже катит по вознесенной над городом железнодорожной насыпи, а Гризли — Гризли все еще дома. При виде исчезающих за окном родителей, с которыми она еще ни разу в жизни не расставалась, и вереницы величаво уплывающих

вдаль рижских шпилей госпожа Душелис забывает про все свое недовольство и, глотая слезы, ищет ладонь мужа. И внезапно чувствует на себе его смутный неотрывный взгляд. Взгляд сморенный, как у охотника, когда его отпускает возбуждение погони за зверем. Целый день, распаленный, гнался он за лисой, перемахивая через заборы и канавы, не чуя под собою ног. И вот она распласталась перед ним, сраженная удачным выстрелом. Охотник мгновение смотрит на нее устало, поворачивается и не спеша садится в экипаж, чтобы ехать домой.

«Спокойной ночи», — сказал Душелис и исчез в купе. Под колесами поезда грозно загрохотали мостовые опоры. Даугава! Гризли долго вглядывалась во тьму.

Продолжение следует



Никлавс Струнке. Гунниеки



---

Латышская поэтесса Аманда АЙЗПУРИЕТЕ родилась в Юрмале. Училась на филологическом и историко-филологическом факультетах Латвийского государственного университета, в Литературном институте им. А. М. Горького. Работает литературным консультантом в журнале «Родник». Издала книги стихов: «В сад мать придет» (1980), «Улица дюнная» (1986), «Следующий автобус» (1989).

Переводила из русских поэтов первой половины XX в. стихи Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, из современных русских поэтов — И. Бродского, А. Еременко, И. Жданова; стихи украинских поэтов М. Семенко, Е. Плужника, Богдана-Игоря Антонюча; немецких поэтов Р. М. Рильке, Г. Тракля.

Стихи А. Айзпуриете переводились на русский, украинский, немецкий, арабский языки.

---

## ПОСЛЕ ЗАКАТА

Перевела Наталия БАБИЦКАЯ

\* \* \*

Здесь виноград вырастает кислым, как незрелый свет.  
Его забродить не заставят дрожжи. Кто станет рвать такой?  
Но если сорвал ты, щепотку тайны подбрось: составляй букет  
вина, прозрачного, словно сумерки, глубокого, как покой.

Здесь виноград всегда вырастает — на черствой земле, на ветру.  
И в мутном соке — моих стараний напрасных не увидеть.  
Добавь еще отчаянья горстку — и все. Теперь пред тобой  
вино, прозрачное, словно сумерки, глубокое, как покой.

\* \* \*

Здесь из песка белого кто-то  
каждое утро лепит русалку,  
которая днем превратится в зной.  
И вечером кто-то лепит русалку,  
которая канет во тьму с волной.

Никто не просит русалок остаться.  
На берегу и так места мало.  
Но, говорят, что после заката  
по берегу бродит свет небывальи.

\* \* \*

В которую из жизней это было,  
когда мы жили в доме возле моря?  
Сестра сучила пряжу золотую.  
Мы с братом жгли костры на берегу.

Мы жгли костры, не пропустив ни ночи.  
Чего мы ждали? Корабля иль чуда?  
К нам, утомившись, забредали ветры  
и грелись у костра, как старики.

Корабль не появлялся. И однажды  
под утро брат исчез, всю ночь проплакав.  
Я села ткать огонь. Одной вдоль моря  
не подобает девушке бродить.

Не помню, возвратился брат иль сгинул.  
Не помню, удалось ли пламя выткать.  
Запомнила — лишь море и на сердце  
предчувствие зари и корабля.

\* \* \*

В детстве из ракушек, этим  
летом из бликов заката  
я нанизала ниточку бус.  
Я не гожусь для счастья, наверно,  
но для жизни гожусь,  
ибо меня так мало  
было и будет на этой земле,  
словно закатных алых  
бликов на чистом оконном стекле.  
Как будто рассудок иль время,  
меня легко потерять,  
утраты даже не замечая.  
Когда я слишком долго блуждаю  
по ряям и адам — без дна и предела,  
покоя лишается только закат,  
который на нить нанизать не успела.

\* \* \*

Я буду в то утро еще нерожденной. Трава  
в росе — будет белой, а утро высоким и чистым,  
как пение горна. Слепая змея темноты  
еще будет спать под сиреневым корнем ветвистым.  
И мать выйдет в сад. И моих непокорных волос,  
которые ветром казаться ей будут, коснется,  
к сирени приникнув, мои поцелует глаза,  
не зная о том — неизбежном, холодном, зловещем . .  
Я буду в то утро еще нерожденной. Трава  
замрет на мгновенье — в росе и предчувствии вещем.

\* \* \*

Весна, и надо уйти,  
пока все такое прозрачное, что кажется —  
никто никому не принадлежит  
и наши единственные узы — лучи солнца.  
Может быть, из газет этой зимы сделать змея  
и, дождавшись ветреного утра, уйти за ним?  
Медлить опасно. Сгущается воздух, и скоро  
белой страницей раскроются сотни нарциссов.  
Их называют цветами богов подземелья.

\* \* \*

Сколь это по-женски: чужие примеривать крылья,  
как бархатный плащ баснословного средневековья,  
нанизывать кольца на нищие пальцы, а в сердце  
почувствовать порох, другой предназначенный птице.

\* \* \*

Под сводами сумерек — той зимой,  
когда мои дети болели и  
работала я ради денег, без  
просвета, без сил, без желанья — под  
глубокими сводами . . .

Нет, во тьме  
знобящей, на улице, где уже  
давно фонари перебиты, я  
поэзию встретила.

Не смогла  
я вежливо ей улыбнуться — вниз  
тянула авоська с едой и стыд,  
что нет у меня для нее ни слов,  
ни радости чистой.

И вверх, во тьму  
глазами я ей указала: как  
крошечные сумерки глубоки.

\* \* \*

Когда удастся найти свободное время,  
когда остается немного души свободной,  
тогда для бумаги свободного нету места.  
Опять бессловесной пребудет моя свобода —  
свобода жить в детях в предгибельном этом мире,  
лежать среди соцветий объятого тленьем сада.

\* \* \*

Моя предрешенная доля,  
ты сроду чужой мне была.  
Как лес, что поднялся среди поля,  
в твоих я пределах росла.

Развеялись сны с топорами.  
И буря давно не страшна.  
Сбывайся, судьба! Меж корнями  
чужие лежат семена.

\* \* \*

Вовеки — как это, должно быть, по-детски звучит —  
вовсеки я буду любить эту краткую осень  
и этот октябрь.

Не тебя в октябре, но октябрь —  
такой же отчаянно нежный во властном бессилье,  
как ты,

и, как ты, столь же рано начавший сесть.  
Вовек — до скончанья от детства оставшихся снов,  
до края, который подобен, наверное, смерти,  
я буду любить золотое, прохладное,

весь  
октябрь у меня на ладонях лежавшее солнце.

## УДИЛЬЩИК НА ДВИНЕ

И так-то всегда, словно не солоно хлебавши уходил от своего дядюшки Ваничка. Если случалось, что Ваня слишком назойливо приставал к нему, дядюшка, кротко вздыхая, прибавлял: «Милый крестничек, да ты подумай, что я не перестарок еще, могу жениться. Так зачем же мне тароватиться, не в коня корм кормить — тратить? Ведь ты, беспутный, и гроша сам-то не стоишь, а я тебе 15 целковых отсыпаю, великолепную по твоей беспомощности квартиру даю и одеваю. Какого же рожна желать от Христа, Бога нашего, и твоего дяди? . . . Ваничка, если ты будешь приставать, то я вот сейчас попрошу Минну Карловну (ключница дядюшки, немка 30 лет) сходить к пастору и попросить о выключке . . . Пусть же дети по крайней мере промотают мои крохи! . . .»

Подобные ответы, аккуратно всякий раз отпускаемые Нилом Ефимычем вместо наличной суммы, им просимой, отвадили его от просьб. Ваня всегда был предзанят мыслию: да зачем же мне хлопотать о чем бы то ни было? У дяди денег много, а я у него один! Что он страшает женитьбою, то это — дудки! Куда ему, старому хрычу! Нужно потерпеть, чтобы не довести старого упряма до крайности! . . . Ну и потерпим, нечего делать . . . Потерпим, хоть это и больно, потому что лучшее время жизни проходит без всяких удовольствий. Это кремь, а не человек, разлюбезный мой дядюшка. Он не современный человек, он какая-то египет-

ская мумия по своим отсталым понятиям о потребностях молодого поколения! . . .

К этому-то кремню-человеку отправился Иван Алексеич в тот же вечер с важною целью. Он благополучно довел свою невесту Машеньку до дома, рассказал все обстоятельно Матрене Прохоровне. Матрена Прохоровна от радости только всплеснула руками и дала свое согласие. Она знала коротко Ивана Алексеича, потому что ее скромный домик был рядом с квартирою Нила Ефимыча, так что она видела его каждый день и нередко была свидетельницей того, как он и внучка упражняются в прицельной стрельбе словами и глазками, сказывавшейся до сего времени безрезультатною. Хотя она ведала доподлинно, что у Ванички нет и гроша за душой, но . . . за ним стоит холостяк-дядюшка, которого, по словице, не купить и за сотню тысяч. Стало быть партия самая завидная. И вот, отобравши благословение от Матрены Прохоровны, Иван Алексеич поспешил явиться к дядюшке. Времени было еще достаточно, несмотря на позднюю пору ночи, потому что дядюшка, страдая сухими мозолями, ложился поздно, очень поздно, чтобы успеть, измучившись бессонницею, уснуть хоть несколько часов покрепче, и рад был, когда кто-нибудь развлекал его сон, лишь бы мог, беседуя с ним, удовлетворить бутылкой бейриша с селедкой, куском 20-копеечного сыру.

Несмотря, однако, на легкий доступ к дядюшке, племянник порядочно трусил, подходя к дверям его апартаментов, состоящих из двух комнат с кух-

---

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 2.



нею, в которой имела свое царственное пребывание Минна Карловна. И было от чего трусить: дядюшка сентябрем смотрел на юношей в звании коллежского регистратора в отставке, желающего обратиться.

Одно утешало Ваничку, что Машенька всегда производила какое-то особенное впечатление на дядюшку. Он всегда как-то особенно ослаблялся, когда встречал ее, даже дарил ее ласковыми словами, с некоторым подмигиванием. Иван Алексеич много-много раз прочитал про себя: помяни, Господи, Давида и всю кротость его, прежде нежели решился войти к дядюшке, в темное, позднее притом время. Минна Карловна уже разоблачалась, когда он постучался в дверь кухни, и чрезвычайно удивилась его появлению, потому что Иван Алексеич, считая дядю скрягою, редко являлся к нему, а ночью почти никогда, и потому еще, что костюм его после борьбы с Индриком Притцем был в большом беспорядке, а Минна Карловна, после Евангелия, первым долгом считала порядок во всем.

— Дорогой мой дядюшка, отец и благодетель, я к вам с великою просьбою! — воскликнул юноша, страстно бросаясь к дядюшке с целью подкупить его благорасположение.

— Потихе, потихе, племянник! — отвечал дядюшка, слегка отстраняя его любезное поползновение. — Не сбей моего ночного колпака, а главное говори поскорее, что тебе нужно, потому что спать пора. А еще главное, не попорти моего сна какими-нибудь глупыми просьбами о пособии...

— Нынче, дорогой дядюшка, не о пособии тут дело идет, а о счастье целой моей жизни.

— А!.. Это дело другое — говори!

## VI. ЖЕНИСЬ, ВАНИЧКА, ЖЕНИСЬ, ГОЛУБЧИК, ПОРА И УМКОМ И ДОМКОМ ОБЗАВЕСТИСЬ

— Ба, да что это такое вижу? — воскликнул дядюшка, поднесши свечу, т. е. салыный огарок, к самому лицу племянника и внимательно осматривая его с головы до ног. — Ты, разлубезнейший, можешь быть наилучшим изображением Петрушки Грибоедова в его «Горе от ума»!.. — и дядюшка тут густым басом, почти нараспев протя-

нул, принявши театральную позу: «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем!» На тебе такой костюм, будто ты сейчас явился с мамаева побоища.

Да не подумает читатель, что Нил Ефимыч был почитателем и читателем произведений литературы и поэзии. Отнюдь нет! На эти произведения он смотрел, как большинство чиновников тогдашнего времени, если не с презрением, то с глубоким сожалением. Писаки, только людей баламутят. Будь они в моей власти, я бы их всех по канцеляриям порассажал: ты вот где пиши! Ты тут пользу приноси! А иному сказал бы, припугнувши еще: ты, братец, сперва почерку научись у полкового или особенно квартирмейстерского писаря. Ты худо, неразборчиво, грязно пишешь, даром что ученым себя считаешь!..

Но несмотря на такое отношение к музам, его превосходительство любил выхватывать отдельные фразы, особенно подходящие к его умозерцанию, чтобы при случае и похвалиться, что он не совсем отсталый человек, а читает кое-что, даром что недоволен чтением, и поразить человека меткою фразою. Особенно понравилась ему фраза о Петрушке: будучи сам в высшей степени аккуратен во всем, он был восхищен до высшей степени, когда в первый раз услышал эту фразу на театре (театр он любил посещать, впрочем не для того, чтобы услаждать слух, а чтобы тешить зрение) и решился сделать ее девизом в деле зыскания с неряшливой прислуги и с прочего человечества, которого сие касалось.

— Вы угадали, дядюшка, — отвечал Иван Алексеич, нимало не струсивши перед строгою ревизией дядюшки. — Я действительно имел честь явиться к вашему превосходительству с побоища, хотя и не мамаева!.. Я...

— Очень хорошо, очень хорошо! — прервал его дядюшка с саркастической улыбкою. — И почему такому молодцу не подраться? Почему, когда нет других занятий, не подставить и своих боков под кулаки другого? Почему...

— Но, дядюшка!..

— Но, племянничек, позволь мне докончить!.. Почему же не пожертвовать при этом и костюмом? Ведь дядя новенький сошьет!.. Но в этом ты, Ваничка, ошибся. Но я дивлюсь, зачем ты явился сюда с докладом о своей новой богатырской способности! Я спокойно



Лодки у Придвинского рынка. (1900—1905 гг.)

бы заснул и без этого доклада! А теперь — покойной ночи!

— Выслушайте меня, дядюшка, и потом судите, как хотите! Я не только не виноват, но заслуживаю одобрения.

Дядя, который поднялся было уже уйти в спальню, остановился и строго спросил:

— С кем же ты сцепился?

— С Индриком Притцем, дядюшка...

— Как!.. — воскликнул дядюшка с видом крайнего изумления, гнева и огорчения. — Ты осмелился оскорбить такого хорошего человека?!

Здесь необходимо сказать, что дядюшка имел с Притцем довольно значительные денежные дела. Притц, расширяя свои торговые операции, почти всегда, несмотря на солидное имущество, имел нужду в наличных деньгах. И часть капиталов г. Козлякова была у него в обращении. само собой разумеется, что вверенный в ссуду капитал был аккуратным и опытным в таких делах дядюшкой совершенно обеспечен, так что ни в каком случае пропасть не мог и давал самые высокие проценты.

Если бы известное торговое предприятие, на которое отпускаясь ссуда, не удалось Притцу, то он обязан был заплатить законный процент и ссуду г. Козлякову, не делая его участником в убытке. Иными словами: его превосходительство имел много шансов на получение 20 и более процентов с капи-

тала и ни одного шанса на понижение их ниже самого высокого казенного процента, притом так, что никто не мог придрататься к нему за то, что он ростовщик. Притц более года уже вел такие дела с г. Козляковым и вел, надобно сказать правду, весьма честно. И вот, бывая изредка по этим делам у г. Козлякова, он увидел Машеньку и был поражен ее красивым личиком, а впоследствии и маленьким кокетством. Но Иван Алексеич едва знал Притца. Понятно поэтому удивление, огорчение и гнев дяди, когда племянник доложил ему, что драка сочинена с Притцем.

Тут племянник, не смущаясь выражениями дядюшки, рассказал все по порядку с малейшими подробностями, из-за чего и как произошла драка. Нужно было все красноречие правды и любви, чтобы убедить старого упрянца. И это в конце концов удалось-таки племяннику, хотя и с величайшим трудом. Дядя принужден был согласиться, что Ванчик поступил хорошо. Мало того, свое одобрение он до того простер, что сей же час отсчитал ему 25 р. на костюм (конечно, имея в виду вычесть эту сумму случайного расхода с Притца, так как расход из-за него сделан, да и слупить с Притца наивысший процент) и в довершение благоволения приказал Минне Карловне подать две бутылки баварского, селедку (биргерскую) и сыр. Водки ни племянник, ни дядя не вкушали.

— Я уверен, что после такого подвига ты чувствуешь волчий аппетит. Садись же и закуси. Стаканчик пива и я с тобой выпью.

Но Ване было не до закуски, у него на сердце кошки скребли, как завести речь, имеющую целию исторгнуть у дядюшки согласие и благословение на брак с милой Марьей Гавриловной. Ему хорошо было известно, как дядюшка смотрит на подобные браки. Наконец он начал:

— Дорогой дядюшка, я вошел к вам, помните, с великою просьбою о счастье целой моей жизни.

— Помню, друг мой, и сам хотел спросить тебя о разъяснении этой загадки. От чего зависит счастье твоей жизни?

— Милый мой дядюшка, я хочу просить вашего совета и содействия...

— Ну?

— Что вы, дядюшка, думаете о Машеньке моей?

— Какой твоей Машеньке?

— О той самой, которую я нынче вырвал у Притца, о нашей молодой соседке, внучке Матрены Прохоровны Мешковой?

— Да что же мне, на старости лет, думать о ней? Не думаю, племянник, ничего.

— Я не о том, дядюшка.

— А о чем же?

— Скажите мне, как вы думаете, способна ли она по своим качествам составить счастье человека, если бы он женился на ней?

— Это, любезный, как кому придется.

— Если вы, дядюшка, отказываетесь высказать ваше мнение о ней, то позвольте мне высказаться пред вами.

— Э, Ваня, какой же я тебе духовник? Лучше сходи к попу, да и вообще отложи разговоры, ведь спать давно пора! — отвечал дядя, уже с первого раза догадавшийся, о чем пойдет речь.

— Нет, дядюшка, вы меня должны выслушать.

— Ну, нечего делать, говори, только поскорее, и, главное, выпусти руку-то мою.

— Дядюшка, я думаю, что Машенька есть редкая девушка!

— Да, в нашем околке!

— Премилая, прелестная, прекрасная девушка!

— Ничего себе, недурна, только тре-

бует выправки, у нее манеры иногда очень нехороши.

— Дядюшка, она может составить счастье мужа, принести радость, удовольствие в дом.

— Да, как-нибудь проживут свой век, если найдется ей такой муж, который обеспечит ее стотысячным капиталом.

— Дядюшка, я вижу, что вы предубеждены против милой моей Машеньки, но это напрасно!

— Нисколько, мой милый! Я отдаю ей справедливость, она бесспорно будет отличною невестою, будет, но не теперь. Но для меня странно, почему ты называешь ее своею?

— Дядюшка, признаюсь вам откровенно, я давно люблю ее. Прежде я, так сказать, неясно сознавал, что люблю. Но сегодняшней случай подвинул нашу любовь. И я явился, чтобы испросить ваше благословение на брак, от которого зависит и мое и ее благополучие. Я и она горели нетерпением узнать свою участь, услышать из ваших уст приговор!

— Ты, Ванчик, напрасно беспокоишься о моем благословении. Путного в тебе, холостом, я ничего не вижу. Авось, когда будет семья, волей-неволей серьезнее взглянешь на жизнь!..

— Итак, дядюшка, вы согласны?

Дядюшка благодушно отвечал:

— Женись, Ванчик, женись, пора и умком и домком обзавестись!..

Словно ошеломленный, стоял Ванчик, не веря своим ушам. Дядюшка без сопротивления сдается ему! Придя в себя, он бросился на шею к дядюшке, стал неистово лобызать его, величая нежными названиями. Дядя почти насильно вырвался у полусумасшедшего.

— Ну, теперь я могу сказать: покойной ночи? — спросил он у племянника. Но тот не трогался с места. Нужно было добиться, сколько милый дядюшка назначит содержания молодой чете. Племянник мялся высказать это. Но дядя был догадливый человек, он отчеканил ему вот что:

— Так как я уверен, Ванчик, что ты, имея в виду жениться, имеешь также в виду и средства к жизни, не касаясь меня, потому что иначе ведь ты бы женился на мой счет, то вот что тебе обещаю, во 1-х, я буду твоим отцом посаженным. Согласен на это?

— Милый дяденька, можно ли об этом спрашивать?

— Хорошо! Вот этим образом, — и он указал на передний угол, — я благоговяю тебя. Он стоит больше ста рублей. Во 2-х, сошью тебе новую пару платья и полдюжины белья. В 3-х, дам тебе 100 р. на первоначальное обустройство и 25 р. на свадьбу, потому что уверен, что свадьба у тебя, как совершенного голяка, будет скромная. Наконец, в 6-х, ты можешь прожить почти год в моей собственной квартире, потому что за нее заключено в начале июня за год вперед, а мне она ненужная, потому что, признаюсь тебе, и я увлекся твоим примером, хочу жениться. Только я не прихотлив, как ты, я беру хозяйку заботливую, работающую, умную, немолодую, словом, Минну Карловну. Я рассудил, что нам так-то жить? Лучше жить по-человечески, по-божьему... Я тотчас уеду из Риги после свадьбы, а теперь прощай.

И он ушел, заперся в спальне.

Гром и молния менее бы, кажется, оглушили Ивана Алексеича, чем эти пункты обещаний любезнейшего дядюшки.

## VII. НАКАНУНЕ ЛИГО ЯНА

Всю ночь не спала Машенька после признания, сделанного ей Иваном Алексеичем. Она теперь знала, что любовь принесет ей все радости, все удовольствия светской жизни, вырвет ее из медвежьих когтей бедности, заставит ее снова видеть те золотые сны барственной жизни, какие она видела когда-то в богатом купеческом доме. На тысячу ладов она вариировала прелесть будущего ее положения, как она прокатится на собственной паре к Миллеру, в Альтенау,<sup>1</sup> в клуб, в театр, куда душе угодно, разодетая по последней картинке парижских мод, при восклицаниях, то сдержанных, то громких: кто эта такая прекрасная дама? Много прелестных видений грезилось в грациозной головке Машеньки, так много, что считаем не деликатным утомлять читателей подробным исчислением таких сладостных грез.

Поздно, очень поздно, часу в 12-м, она поднялась с постели. Пробудив-

шись, она очень удивилась, даже рассердилась, не видя у ног своих героя своих грез, Ивана Алексеича, который обещал, как только она проснется, принести ей радостное известие о согласии дяди на их брак. Столь долгое отсутствие любимого человека, долженствовавшего ей подтвердить, что золотые сны ее скоро осуществляются, она объясняла тем, что, видно, и сам он, утомленный происшествиями вчерашнего дня, спит себе спокойно, или что с дядюшкой не успел с вечера объясниться и теперь вел словесное ратоборство, имевшее кончиться, конечно, полнейшею победою над его сердцем и кошельком. Позднее приводила другие более или менее благовидные объяснения такого отсутствия, — и была спокойна. Но когда герой ее не явился после двух-трех часов, недоброе предчувствие подсказало ей, что дело их не совсем-то клеится, что Ваня ее, видно, встретил такие затруднения в своем походе на сердце и кошелек дядюшки, которых доселе не перемог, не пресилил. Тогда Маша предалась глубокому отчаянию, основательно рассчитывая, что Ваня встретил непреодолимые препятствия к их соединению и теперь совестится показаться на глаза. Матрена Прохорова пыталась было ее успокаивать, резонно представляя ей, что таких шалопаев она может найти две с половиной дюжины каждый день. Машенька в ответ только разливалась слезами. Ей казалось обидою, почему он даже в случае неудачи не пришел утешить ее.

В самом деле, отчего же он не пришел?

Не пришел он утром именно по той причине, которую и Машенька объясняла его отсутствие, т. е. он не хотел явиться к нареченной с нерадостной вестию, вестию о том, что если они хотят соединиться браком, то для дядюшки это трин-трава, такое плевое дело, что он даже не пытался отсоветовать его, но что они в таком случае должны надеяться только на себя. Зачем же и идти ему к Машеньке? Хорошо быть вестником чего-нибудь приятного. А худо, помилуй бог. Кстати припомнил Ваничка, что сегодня канун Яна Лиго, что в Альтенау будут огненные потехи, и решил развлечься. А в ожидании развлечения отправился на Двину, ловил рыбу, ловил так удачно, что и не видел, как время протекло... Фи, — скажут нам, какой гадкий наш герой!

<sup>1</sup> В районе нынешнего парка «Аркадия», по соседству с которым одна из улиц еще сохранила прежнее название местности — ул. Алтонавас.

Но уже сказано выше, что наши герои не суть герои в собственном смысле, а только вице-герои, занимающие это место только потому, что надобно же кому-нибудь в повести занять место примуса-примуссы. Наши герои не Вертеры, не Нероны, не Барбаруссы, а простые великоруссы.

Да и то сказать, надобно быть или очень занятым человеком или такою флегмою, как дядюшка, или, наконец, иметь другие удовольствия в доме, а пожалуй и неудовольствия вроде капризной жены, болезни и т. п., чтобы отказать себе в удовольствии побывать в Альтенау накануне Яна Лиго, на огненных потехах. Там происходит тогда чистое беснование с помощью пороха. Там пускаются тогда ракеты, шутихи вроде огненного змея. Бесчисленное множество не только мальчишек, но и взрослых людей с большими запасами этих снарядов с раннего вечера отправляются туда и пускают их в реку, к удовольствию и ужасу публики, особенно прекрасной (не всегда буквально). С чего взят и ведется такой обычай? Полагательно, что так же из языческих преданий, существующих во всей России, об огненном змее, который накануне Иванова дня прилетает к колдунам и колдуньям, ведьмакам и ведьмам,

спускается к ним сквозь дымовую трубу и рассыпается золотом, яхонтами у них в жилище, как платой за их усердную службу змею преисподнему, ветхозаветному. Но от чего бы ни происходил этот обычай, он много имеет характеристического, занимательного, притом совершенно местного. С шести-семи часов начинаются там огненные потехи, сначала изолированно, тут и там, нетерпеливыми мальчишками, которых так и зудит пустить ракету или шутиху, припасенные ими часто на последние гроши, данные родителями на булку или в день рождения. Но более серьезные обладатели пороховых змеев берегут их на более позднее время, именно до девяти и более часов, когда при мраке ночи будет более эффективным огненное освещение. К этому времени они преимущественно и собираются. Почти бесконечная вереница карафашек, тележек и других легких экипажей, собственных и наемных, щегольских и скромных, везут публику на любопытное огненное позорище. Публика в ожидании потех, в разгаре их, а часть ее и после того, имеет возможность утолить жажду и в соседнем трактире, и в целом ряду временных кабачков-выставок, окружающих один холм, на котором прежде возвышался



Альтенау. Маринско-мельничный пруд. Фото начала века -

намет полковой церкви, когда полк стаивал один в Альтенау<sup>1</sup>. Между этим холмом с одной стороны, трактиром с другой и лагерными палатками с третьей на обширном песчаном пространстве, тотчас, как темная ночь, по большей части от туч, покрывает небо-склон, все пространство это освещается искусственным огнем ракет и шутих. Что такое ракеты, объяснять излишне, — это всякому известно, но шутиха есть почти та же ракета, но только пускается не вверх, а рикошетами между публикою, присутствующею при потехах. Само собою разумеется, что шутиха безвредна, что от нее можно посторониться, но когда несколько таких шутих посылаются с разных сторон и летят с шумом, рассыпая миллионы искр, по разным направлениям, пересекая друг друга, лопааясь во многих местах, тогда нужно смотреть и смотреть, чтобы какая-нибудь не напроказничала с неосторожным зрителем. Сколько раз случилось видеть опаленные лица, сделавшиеся рожами, и посетительниц с подпаленными шлейфами. И не думайте, что пострадавшие возбуждают сочувствие в публике. Нисколько! Только смех, потому что серьезные увечия получить тут нельзя, а если человек решается попробовать, что такое шутиха, то отчего же не представить ему столь дешевого удовольствия? Часов в 10—11 выходят на сцену уже избранные артисты. И тут шутихи действительно принимают под их искусно в таких упражнениях рукою вид настоящего маленького сражения. Огненные змеи извиваются непрерывно по всевозможным линиям; от огня порой светло, как при свечах, а от треска, от громкого хохота веселой публики, от лопающихся ракет, от выстрелов в ушах звенит. Какое-то опьянение нападает на зрителя. То и глядя, какая-нибудь шутиха разорвется у тебя под носом, под ногами, опалит твои гороховые или клетчатые панталоны, но отойти тебе не хочется от огненного зрелища. Оно продолжается далеко за полночь, пока не иссякнет источник порохового запаса или насытятся жаждущие спиритизма души. Впрочем, это последнее продолжается еще долго после прекращения жажды к огненным

удовольствиям. Пройдите утром 24 числа в Альтенау, — и вы непременно увидите, что на многих берегах канав, на многих пригорках и просто где попало починут безмятежным спиритическим сном усердные почитатели Лиго Яна и Бахуса.

Иван Алексеич был особенный артист в деле пускания шутих. Его шутихи выделяли чуть не чудеса на пути своего следования. Они делали столько рикошетов, разрывались так искусно там, где вовсе их не ждали, что едва не каждую из них публика покрывала знаками своего неистового одобрения. И теперь он сам неистово предавался этому занятию, потому что, к чести нашего героя, мы должны сказать, что если он и пошел к Альтенау, то это вовсе не из равнодушия к Машеньке, а из печали по ней. Он желал забыться, забыться до беспамятства. С этой целью он прибыл сюда, запасшись несколькими дюжинами шутих, производил ими чудеса и еще не совсем истратил их, когда публика уже расходилась, развезжалась по своим местам и оставались здесь только записные любители Бахуса. Кучка таких любителей спокойно расселась при подножии холма и по-видимому надолго, потому что целая батарея водки и пива с закусками чинно дожидалась, когда они кончат ее, а кончить скоро не было никакой возможности, так как она была сформирована по усиленному военному положению. Много шутих летело на эту батарею, но воители ее были такой обожженный народ, который только громким смехом встречал легкие повреждения, причиняемые шутихами им и их орудиям.

— А что, господин, — сказал Ивану Алексеичу на ломаном русском языке какой-то прилично одетый незнакомец, — можете ли вы прогнать вашими шутихами этих молодцов, не давая им понять, что метите в них.

— Могу! А что же вам? — ответил Иван Алексеич, гордо и самонадеянно осматривая незнакомца.

— Можете? Я сильно в этом сомневаюсь, хотя признаюсь вам, был свидетелем вашей ловкости.

— А я вам говорю, что могу!

Потом, вынувши из мешка оставшиеся шутихи, которых было штук до десяти, он сказал:

— Вот этого достаточно, чтобы прогнать всю ватагу. Но я не хочу этого делать, зачем же их беспокоить?

<sup>1</sup> От того времени и ведет свое название улица Нометню (Лагерная).

— Не о том речь, господин, но я говорю вам, что вы не можете согнать их с места вашими шутихами. И готов держать пари с вами!

— Пари? А на сколько? — воскликнул Иван Алексеич, за живое задетый в самолюбии.

— На сколько вам угодно! — отвечал самоуверенно незнакомец.

— Хорошо! На бутылку шампанского и хороший ужин!

— Идет! И чтобы вы не сомневались, то вот вам 10 рублей. Если съебете эту батарею без особенного вреда артиллеристам, сами заказывайте ужин на двоих, а если нет — возвратите мне деньги, я большего от вас не требую, так как вижу, что вы небогатый человек.

Ваня действительно был одет дурно, в тот сюртук, в котором вчера ратоборствовал с Притцем. Нового он еще не успел купить, а только заказал и отдал наперед деньги. Слыша от незнакомца, что он бедный, и вспомнивши, что он мог и не быть бедным, если бы не скупость дядюшки, он покраснел, но сдержался и принял деньги... Еще раз, притом навсегда, замечу, что он не был герой!

Началась канонада. С первого же прицела, будто случайно сделанного, выбыло из батареи: бутылка коньяку и бутылка баварского. После четвертого выстрела принуждены были переменить место, так как по крайней мере половина их батареи была разбита, уничтожена, да и им самим порядочно досталось по рождеству и прочим сусалам.

— Поздравляю вас, вы выиграли! — воскликнул незнакомец, восхищенный искусством Ивана Алексеича. — Поздравляю и нисколько не сожалею о проигрыше. Я имел удовольствие видеть искуснейшего стрелка. Пойдемте, выпьем и закусим!

Иван Алексеич, порядочно проголодавшийся, согласился.

— Куда бы нам? — сказал незнакомец, как бы раздумывая, где лучше им попить-поесть.

— Куда же как не в трактир? — возразил Иван Алексеич.

— Фи, в трактир! Чтобы есть подогретую гадость! Чтобы пить подслащенную воду вместо шампанского!.. Ни за что! У меня есть тут на примете один знакомый, у которого все имеется контрабандою. Идем к нему!

Ваня колебался. Незнакомец это заметил и добродушно сказал ему:

— Впрочем, как хотите! Если в состоянии удовлетвориться тем, что есть в этой корчме, которую величают гостиницей, то я очень рад. Я буду сопутствовать вам, но, извините, не буду участвовать в вашей трапезе. Но, виноват, должен сперва откомендоваться. Я барон Тейфельгаупт, любитель и искатель приключений.

Ваня более не колебался. И вот он скоро достигли одной лачуги в соседнем лесу<sup>1</sup>. Барон Тейфельгаупт, как только они вошли, запер дверь на ключ и крикнул:

— Подайте угощение! Гость явился!

В ту же минуту дверь из другой комнаты, составляющей вторую половину лачуги, отворилась, и взорам Ивана Алексеича представился г. Притц с двумя буршами.

— Измена, предательство! Каранул! — закричал Иван Алексеич.

— Так точно, милостивый государь, — вскричал с громким хохотом Притц. — А чтобы вы убедились, что всякая надежда на помощь бесполезна, то вот крикну и я, кричите и все вы, мои бурши:

— Измена, предательство, каранул!..

Только эхо разнесло по лесу эти неистовые крики.

— Ну, теперь, когда состояние дел мы привели в ясность, сочтемся, милостивый государь.

## VIII. ШУТИХА

Положение было самое критическое: бежать некуда, да и невозможно, потому что кроме мнимого барона Тейфельгаупта было еще трое гайдуков, из коих сам Индрик Притц, выкообразный господин, мог один убрать двухтрех Иванов Алексеичей. Ваня сразу понял свое положение: он бросился в передний угол, схватил скамейку и гневно произнес:

— Подходи, кому башка не дорога!

Притц и его бурши только засмеялись на этот отчаянный вызов. Посмеявшись вдоволь, Индрик Притц подо-

<sup>1</sup> О том, что лес в недалеком прошлом подходил вплотную к Альтенау, говорит бывшее название нынешней улицы Пилоту: Межа — Лесная.

шел к нему иронически вежливо и повторил фразу, которую встретил его при входе:

— Рассчитаемся же за Машеньку.

Молодой человек молчал от ярости, что так глупо попался в западню, из которой вырваться не представлялось никакой возможности. Он знал, что пощады не будет, недоумевая только, каким способом сведут с ним расчет. Притц, впрочем, скоро разъяснил, чего он хочет.

— Господин Ваня (в тех редких случаях, когда г. Пятницкий встречался с Индриком Притцем в доме дяди, последний всегда относился к нему с титулом «Ваня»), и Притц думал, что, представив к нему слово «господин», он попадет как раз в такт, т. е. прилично, вежливо, деликатно назовет человека своим именем) . . . — Господин Ваня, вы не извольте горячиться. Призывая вас к расчету, я вовсе не думал и не думаю круто поступить с вами, хотя вы вполне заслужили, чтобы я именно беспощадно круто поступил с вами, потому что посмотрите, что вы сделали со мною вчера вечером . . .

И он указал на голову, которая была завязана чем-то белым. На широком лице его так же виднелись рубцы и шрамы, совершенно еще свежие.

— Чего же вы от меня хотите? — спросил г. Ваня, не выходя из своего оборонительного положения.

— Чего? Да сущих пустяков: уступите Машеньку!

— Индрик Притц! Если ты честный человек, то как можешь предлагать мне подобное требование? Да разве Машенька крепостная моя, которую я могу распоряжаться как собственностью движимую? Кого она хочет, того любит, ненавидит, жалеет! А я при чем тут?

— Господин Ваня, но она любит вас. Сделайте так, чтобы она не любила вас, господин Ванчикка.

— Индрик Притц! Вы или издеваетесь надо мною или же одурачили! . . . Каким образом, если бы я и захотел, — а я этого не хочу! — чтобы Машенька разлюбила меня, когда она меня любит?!

— О, господин Ваня, очень просто, выкиньте какую-нибудь нехорошую штуку — и она не только разлюбит вас, но даже возненавидит. Да вот всего лучше: прочитайте, перепишите, подлишите и пошлите вот это письмо!

И он подал черновое письмо, гласившее так:

«Милостивый государь, высокоуважаемый и того достойный господин Индрик Притц! Простите меня великодушно за то, что вчера по совершенному с моей стороны недоумению и по горячности характера я грубо обошелся с вами в теснине Куммингофского парка. С глубоким раскаянием сознаюсь, что игра не стоила свечки. Известную вам особу, из-за которой воспоследовала у нас ссора, я всегда считал назойливейшею кокеткою, которая рада как можно выгоднее для себя повеситься на шею богачу, но никогда не думал, что кокетство ее простирается далее этих пределов, впрочем едва ли и дозволительных порядочной женщине. Но теперь я убедился, что она именно зашла и далеко зашла за эти пределы. Не мое дело судить ее, даже сожалеть о ней: она очень хорошо знает, что делает и как: делает. Я сожалею только о том, что произошла между нами ссора из-за такой дамы. Извините и простите меня. Вперед этого не будет! Я не разбойник, не плут, не мошенник, а честный человек, который в надежде на вашу амнистию имеет честь и удовольствие подписаться и быть вашим покорным слугою. Иван Алексеев Пятницкий, коллежский регистратор и друг ваш».

С негодованием читал Иван Алексеевич это письмо, кровь кипела в его жилах, но, понимая всю беспомощность свою, он сдержался и спросил Притца:

— Положим, я подпишу это письмо, но что из этого будет?

— Будет отлично и для вас и для меня! — воскликнул Притц, в уверенности, что Ваня колеблется. — Будет вот что: мы сегодня погуляем . . . Эй вы, накрывайте стол, ставьте шампанское! . . . А я . . . я дам надлежащий ход письму, соответственно своим видам, и все устроится отлично.

— Но кто мне свяжет язык? Кто мне запретит сказать ей завтра же, что я невольно подписал и написал гнусное это письмо?

— То есть, что вы — трус?

— Но я . . . будь что будет! . . . не напишу, не подпишу такого подлого письма. Я как в истинного Бога верю в непорочность Машеньки. Да я буду подлец, если позволю себе набросить хоть малейшую тень на ее честь! . . .

Призадумался Индрик Притц, выслушав такое категорическое показание.



Не в его расчетах было принимать меры против противника, на эти меры он решился только в крайности. И он переменял тактику.

— Вы, молодой господин Ваня, достойны быть рыцарем и были бы рыцарем, если бы жили 500 лет ранее. Пусть так! Но в нашем деле есть возможность, не компрометируя девушки, примирить наши интересы.

— Каким же это образом?

— Очень просто: уезжайте куда-нибудь подальше из Риги и определитесь на службу. Я вам пособлю на путевые издержки и первоначальное обзаведение, а ваш дядя пособит вам отыскать место... Согласитесь на это... сейчас же запируем!.. Так, что ли?..

Задумался Ваня. Ему представилось, что и в самом деле, если Машенька не может принадлежать ему, то лучше сделать так, чтобы и совсем не видеть, кому и как она будет принадлежать, но мысль, что она достанется Притцу, пьянице, зажгла в нем всю ревность.

— Никогда! — с решимостью отчаяния воскликнул он.

— А в таком случае мы вас... высечем!.. Эй вы, бурши, возьмите-ка его.

Бурши двинулись на Ивана Алексеича — несколько минут он храбро оборонялся при помощи скамейки, но скоро изнемог, руки его бессильно опустились, но вдруг коснулись чего-то твердого в карманах его сюртука. Что это такое? Это были шутихи, остальные шесть шутих, которые он во время известного пари переложил из мешка в карманы сюртука. Мгновенно осенило его вдохновение.

— Остановитесь, я согласен!..

— Вот это разумно! — воскликнул Притц. — Эй вы, отодвиньтесь!.. Ну, на что же вы решаетесь?..

— А вот на что! — отвечал Пятницкий, выхватив из кармана шутиху, зажегши ее на свечке и пуская Притцу прямо в лицо.

Застонал, как раненый вепрь, повалился наземь, как сноп, господин Индрик Притц, изрядно опаленный. — Возьмите его! — кричал он неистово. И один из буршей бросился было на Ваню, но вторая ловко пущенная шутиха уложила и его. Дело быстро изменилось в пользу пленника. Смутилась вся ватага. Тут-то Ваня заметил в одном углу огромный топор. Схватить его, вы-



Бывшая усадьба на острове Фегезакгольм

ломать с его помощью входную дверь было делом одной минуты.

Но и враги его не дремали. Они погнались за ним вчетвером и пустили в ход против него обыкновенно употребляемую карманщиками штуку: они бросили вслед за ним под ноги по палке. Иван Алексеич споткнулся и упал. Не успел он встать на ноги, как враги окружили его, схватили и повели обратно.

— Помогите, спасите, душат! Караул! — кричал в отчаянии Иван Алексеич, зная, что некому услышать его, потому что кругом стояли только сосны, тихо шумевшие, будто шептавшие: жаль, жаль тебя, Ваничка, а делать нечего!..

Вдруг не дальше как в каких-нибудь шагах пятидесяти, два альта, звонкие как колокольчики, запели-запели известную коперную песню: «Ой, дубинушка, охни, ой, зеленая, сама пой-дешь!». Тогда, когда они ловко, чисто отчеканили это, другой голос, подражая ударам сорокапудровой бабы, начал отчеканивать раз за разом: «ух, ух, ух!»

Это уханье чему бы уподобить? Если правда, что лешие любят прикрикивать и припугивать запоздалых путников, то не иначе, как таким басом. Но приятнее музыки небесной показав-

лись они Ивану Алексеичу. Он отчаянно закричал:

— Дядя Ерема, выручи Христа ради!

— А какой там леший зовет меня? — рявкнул бас.

— Это я, Иван Пятницкий! Выручи, дядя, меня бьют!

— А, это вы, Иван Алексеич. Сию минутку, голубчик! . .

И слышно стало, как кто-то, пыхтя и неистово браняся, бежал на место происшествия.

Руки державших Ивана Алексеича дрогнули, чем он и воспользовался. Вырвался, сбил переднего с ног и помчался навстречу неизвестному нам, но, видно, хорошему своему знакомому, дядя Ереме. Скоро обе стороны столкнулись и остановились.

На одной стороне стоял великан Притц с завязанною рожею, а рядом трое его дюжих буршей. Против них стоял кто-то приземистый, с саженными плечами, весь заросший бородой, так что только нос был виден на всем лице. Рядом с ним Иван Алексеич, а сзади, составляя как бы арьергард, двое юрких мальчуганов. На последних, конечно, плохая была надежда, но зато дядя Ерема стоял, прицелившись двустволкою, а Иван Алексеич вооружился дядиной дубинкой, которой назначение коротко было известно противникам. Дубина эта была громадная, суковатая, можжевеловая. Ее обвивала тонкая, но крепкая и длинная бечевка, к верхнему концу которой привязана была изрядная свинчатка в виде головки. Стоило только распустить бечеву, вынуть головку и начать ее вертеть вокруг себя, чтобы удалить всякого карманщика на почтительную дистанцию. «На что тебетакая палка?» — спрашивали дядю Ерему знакомые. «На собачек, братик, на собачек! Ведь вишь их, проклятых, сколько здесь поразвелось! Проходу нет доброму человеку, особенно в полночь, в чужую подклеть! . . »

— Ну, дядя Притц! — насмешливо зыкнул Ерема. — Похристосуемся, что ли? Вместо красного яичка подкрашу твой нос! . .

— Слушай, дядя Ерема, какое тебе дело мешаться в наши расчеты с г. Пятницким? Оставь нас. Я тебя не затрагивал, ни в чем тебе не мешал. За-

чем же тебе трогать меня? Иди себе своей дорогой. Если хочешь выпить, закусь, то вот тебе деньги.

— Ах ты, архибестия! — азартно крикнул дядя Ерема. — Да нешто я Иуда? Убирайся, пока цел! . .

Индрик понял, что ничего тут поделывать нельзя. И он удалился, изрыгая проклятия, угрозы.

— Иван Алексеич! Как вы сюда попали? — расспрашивал дорогой Ерема.

Он рассказал ему все подробно. Дядя Ерема не прерывал его, а только произносил многозначительно «Гм». Когда же рассказ был окончен, дядя Ерема круто остановил его, спросив:

— А 10 целковых бумажку где вы подели? . .

— Ах, я и забыл бросить им проклятые деньги!

— И не могли этого думать! Чем деньги проклятые?! Нет, они царские, хороши! Да вы же их и выиграли. Возьмем хорошую выпивку и закуску, заберем все это с собою и отправимся на Фезик (полуостров Фегезакгольм<sup>1</sup>, известный в просторечии под именем Фезика) рыбу ловить. Вы свободны?

— Да, — горестно поникнув головою, отвечал Иван Алексеич. — Дома мне делать нечего!!!

— Ну и добро. Признаться, туда и шел. Червей и удочек всяких достаточно.

— А как ты, дядя Ерема, сюда-то забрался?

— Да просто захотелось поглядеть на огненные потехи, а спешить было некуда, ведь рыба берется поутру. Так и решился, чем спать мне на бревнах, лучше людей повидать и себя показать. А теперь как раз кстати и поспеем на ловлю.

Сказано — сделано. Через час они сидели над удочками, а выпивка и закуски стояли около них.

Продолжение следует

<sup>1</sup> Со временем названный (по принципу народной этимологии) Вейзакюсала (букв.: Ветренный заячий остров). Ранее на острове находилось имение; ныне он целиком вошел в массив порта.



## ДНЕВНИК

\* \* \*

Нет меня дома. На улице нет.  
Поздно уже. Зажигается свет.  
Смотришь в окно, словно хочешь во тьме  
Высмотреть некую весть обо мне.

Что там? Подмерзший к полуночи след?  
Как ты считаешь, он мой или нет?  
Я так считаю, что это не мой.  
Как бы тогда не пришла я домой?

\* \* \*

Когда твоя душа, покинув тело,  
На тело брэнное внимательно глядела  
И видела впервые свой уют  
Без признаков душевных мук и смут,

И видела в чертах своих родных  
Существование новых черт, чужих,  
И чувствовала, что еще тепла  
На ощупь кожа, что она могла  
Вернуться бы еще, хотя б на миг,  
В то, чем была, что было ей — дневник.

И вот уже, смятения полна,  
В беспам'ятстве она смотрела на —  
На «что» уже, уже не на «кого» —  
На преданного друга своего.

\* \* \*

Этому телу в могилу лечь,  
Этому телу тебя любить,  
Этому телу — об этом речь —  
Долго ли, коротко — надо жить.

С брэнностью под руку, под другу  
Руку — с бессмертием, проходя,  
Гнуть свою линию, иль дугу,  
Под вертикальным огнем дождя.

Русская поэтесса Елена САРАН родилась в г. Уральске. С 1982 года живет в Лиенае. Училась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, работала техником на железной дороге, инженером по метрологии, корректором в газете; сейчас — студентка 2-го курса Литературного института им. Горького СП СССР.

С 1980 г. стихи Е. Саран публикуются в областных и республиканских газетах, затем — в журналах «Нева», «Огонек», «Крестьянка», «Даугава», «Родник», сборнике «Молодой Ленинград» и других изданиях. В 1989 г. вышел сборник стихов Е. Саран «Ученица».

Не закрывая повязкой глаз,  
Или с закрытыми, все равно,  
Знать, что кривая выведет нас  
Во поле чистое, где темно.

Тьма, заманившая стольких до,  
И не каким-нибудь огоньком,  
Черным — без крапинок — домино,  
Черным раскрытым горь-зонтом.

Ступишь во тьму, обожжешься весь,  
И до костей проберет, насквозь,  
Мелкозернистая эта взвесь.  
«Гроздь», — говорю ей, она мне — «врозь».

«Гроздь!» — говорю ей. Она мне: «Врозь!»  
Эхо такое, или глуха?  
Слушай меня, потому как гость  
Твой я до первого петуха.

\* \* \*

Я знаю: меня не убьют.  
Я знаю, что пуля шальная  
Пройдет, словно пуля сквозная,  
Свой не изменяя маршрут.  
И этим меня не убьют.

За нею одна, и другая,  
И вот уже нервы сдают  
У тех, что припухли, стреляя.  
У тех, что меня не убьют.

Они бы сказали: «К стене!» —  
Когда бы мы были не в поле.  
А что они сделают мне  
На воздухе чистом, на воле?

\* \* \*

Огражден со всех сторон,  
Отгорожен от чужих,  
Этот сад и этот дом,  
А ходил в него Жених.

Нашей тетушки жених.  
Что ни вечер — то с цветком.  
Правда что цветков таких  
Полон был уже весь дом.

На веранде, и в сенях,  
И в гостиной, и у Ней.  
И один уже зачах,  
А другой цветет сильнее.

Это были ноготки,  
Розы, ландыши, сирень.  
Он просил ее руки.  
И ходил он каждый день.

## ПЕСЕНКА

Я пойму одно или два:  
У меня одна голова.  
Мне одной всего не понять.  
У меня сего не отнять.

Я пойму одно или два.  
Я пойму, что значат слова.  
Я пойму, что словом одним  
Можно звать огонь, можно — дым.

Я пойму, что можно заклать.  
Я пойму, что можно пропасть.  
Я пойму, что так говорить  
Можно, если все повторить.

\* \* \*

Перешагнуть границу — вот и все.  
Перелететь, составом переехать.  
Ее змея, попав под колесо,  
Тотчас же хрустнет. Маленькое эхо  
От противоположного холма  
В пространстве троекратно отразится  
И узеньким носком венка традиций  
Подденет и отбросит. Хохлома  
И палех, и торжественная гжель,  
Финифть и скань, и тульский медный пряник —  
Все канет в Лету. И льняная ткань  
Посылки этой сундучок обтянет.

И всех твоих бирюлек череда,  
Пугавшая тебя в твоём «когда-то»,  
Пойдет ко дну. Тяжелая вода  
Поглотит все. И лишь рожденья дата,  
Написанная пальцем на воде,  
Перенесется в точности на небо:  
Тысяча де-  
О, ты, тысяча де-  
Вятьсот шести-  
Десят какой-то невод.

\* \* \*

Москва помещалась в стенах четырех,  
на квадратных  
Шестнадцати метрах, за прямоугольным столом,  
Под лампочкой тусклой, на скатерти в пепле  
и в пятнах,  
В немых стаканах, за их мутноватым стеклом.

Ей не было мало ни этого места, ни света,  
Ни времени даже, которого сроду в обрез.  
Она говорила, сама же и слушала это,  
И тут же теряла к словам своим весь интерес.

Она выходила из комнаты лишь ненадолго,  
Чтоб как-то отметить, нарисоваться в ночи.  
И тут же шуршала под окнами черная «Волга»,  
И птица кричала. Какая? Поди различи.

И странно двоились на фоне небес очертанья  
Московских домов, содержащих пространства  
дворов.  
Казалось, что молния, в эти ударивши зданья,  
В них так и осталась, деля с постояльцами кров.

\* \* \*

Вялые розы! Вы мне милей  
Тех, что когда-то стояли  
В этой воде и просили: «Налей  
До ободка на бокале!»

Все им казалось, что мало воды.  
Им представлялось, что дело  
Только в воде. Что ночные сады  
Это не дух, а тело.

Все они думали: «Что соловей?  
Басенки, побасенки!  
Жить они могут и у людей  
В комнате, в комнатенке.

Только воды бы, воды бы подлить!»  
Я наливала им ванну.  
Жизнь свою как-то желая продлить,  
Всем существом они силились пить  
И не могли, как ни странно.



Никлавс Струнке.  
Умуркумурс!



## ПОКАЯННЫЕ ДНИ, ИЛИ В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА

Рукопись эта пришла с почтой: «самотёк» — так это называют во всех редакциях — в «Даугаве» сейчас чрезвычайно велик, хотя, нужно признаться, присланные из столиц, из дальних краев материалы прорываются на наши страницы всегда с трудом.

С автором мы, как и читатели, знакомимся впервые. Цитируем письмо Н. В. Горлановой: «О себе. Мне 41 год. Филолог. Работала над составлением словаря на кафедре, потом стала писать, ушла в библиотеку вечерней школы. Сейчас не работаю. Замужем, 4 детей. Муж преподает иврит, он вообще увлечен языками; он русский, наполовину молдаванин; писатель-фантаст. Я тоже русская, естественно, пишу на русском. В последнее время начали меня издавать [в Перми есть книга, будет три в Москве]. Один из рассказов, напечатанный в «Октябре», переведен на языки: английский, немецкий, французский, испанский, польский, чешский. Фотографию шлю — какая есть... О «Покаянных днях»: я, кажется, мало описала покаяний! Не хочу понапрасну обижать, обобщать. Будет ли понятно, почему — «покаянные дни»!

Последний вопрос переадресую читателям.

— Мама, ты мне купишь гусенка? — опять умоляет Агния.

Скоро ей исполнится пять, видимо, она намекает на подарок в виде гусенка, но у нас уже есть кошка с четырьмя котятками на данный момент, но у Гумилева Коли вообще были белки, птицы, белые мыши и морские свинки — все сразу, а у моих детей только кошка... Обещаю купить.

— Ура! Значит, я надую гусенка и поплыву, спасусь шестьдесят второго числа, да?

Боги! Речь-то шла о надувном гусенке! В Перми ожидается катаклизм в виде землетрясения и последующего за ним наводнения (прорвет плотину). Паника, видимо, распространилась уже и в младших группах детского сада. Говорят, что в магазинах раскуплены все плавающие средства: надувные круги, матрацы, игрушки.

— Даже среди крыс есть люди, жертвующие собой ради спасения всей популяции, а мы... — Я закурила. (Люда Ч. предлагает вместе с ней послать телеграмму Горбачеву: «Если не закупите одноразовые шприцы, мы вас проклянем». И хотя мы давали уже телеграмму — Сахарову в поддержку, — сейчас я испугалась такой формулировки.)

Два гения (гости), сидя на кухне и распечатывая бутылку водки, бормочут:

— От СПИДа лучше не одноразовый шприц, ..

— Слушайте, у нас нет бокалов, только стаканы!

— В такую жару — водку, гранеными стаканами?!

С удовольствием!

Муж в бешенстве:

— Накурились так, что дым идет из всех отверстий тела.

Жаль, что только среди крыс есть люди, которые жертвуют собой ради спасения всей популяции. Пришла Галя К. и по секрету сказала, что в Пермь завезли мясо из Чернобыля. Радиоактивность жуткая. Но никто из начальства не захотел взять на себя смелость спасти от вымирания популяцию пермяков.

Впрочем, первый секретарь обкома даже семью сюда из Москвы не перевез, он не считает себя пермяком, и бояться ему ничего.

«Из руин» — репортаж специальных корреспондентов.

«С тех пор, как содрогнулась земля Армении, заставив размахом и силой трагедии содрогнуться весь мир, еще не прошел первый шок. Мы побывали в сегодняшнем эпицентре восстановительных работ — Спитак, Леникан, селение Джаджур . . . Города раскорчеваны, особенно Спитак, сплошные пустыри, и только заставленные вагончиками ленты мостовых да провалы на месте подвалов показывают, что здесь стояли жилые дома. Большинство развалин уже нет, вывезли, но экскаваторы еще рычат там и тут, рвут железную путаницу арматуры и грузят в самосвалы бетонный прах».

Оказывается, не только среди крыс есть люди . . . Две девочки семнадцать лет сорвали флаг на здании КГБ. Их арестовали. А что ОНИ думали: что можно изо дня в день печатать правду о пытках в застенках КГБ, а потом ни слова покаяния самих КГБистов. И люди будут терпеть это?! Нет, конечно. Особенно — молодые люди, не испорченные страхом, как мы.

Я предлагаю выйти с плакатами на улицу, но родители девочек не верят в реальность демократии. Они хотят поехать в Москву, там у них влиятельные родственники . . .

Мой муж говорит:

— Приходишь даже к какой-то элитарности. Оказывается, за годы тоталитаризма нравственное чувство сохранили единицы, Сахаров и т. п. Большинство либо было равнодушно, либо — пыталось, либо — ломалось на допросах, либо доносило.

Два гостя (гении):

— А когда мы вам ранее говорили об этом, вы в штыки нас встречали, мол, нет-нет, народ — хранитель нравственности! . . .

Неожиданно пришла наш участковый врач:

— Нина Викторовна, я к вам! Надо давление померить, что-то я давно вас не вижу у нас.

Давление у меня, конечно, с моими почками . . . Но я потрясена ее любовью! Где это видано, чтобы советский врач, загруженный-перегруженный, нашел время навесить без вызова свою больную, пациентку! От потрясения у меня даже давление упало. Воспользуюсь приходом: выпи-

шу рецепт: на шприц, а то соседи сломали мой прежний.

— Шприц можно, вы к нам приезжайте на прием, я выпишу . . . А вот . . . Что вы, Нина Викторовна, думаете о землетрясении?

Все понятно. Она зашла, чтоб у меня, как умной (по ее мнению) женщины, узнать про катаклизм, ожидаемый в Перми. Кое-как успокаиваю врача, рассказываю: якобы наше водохранилище уже начали спускать, потому что трещина под дамбой уже сильно разошлась . . .

После суда девочек выпустили, приговорив к штрафу. Оказывается, на суде они сказали, что хотели этот флаг водрузить на вершине горы Ермака, что они — альпинисты и прочее. И им поверили. Или решили сделать вид, что поверили. Родители от удивления такой находчивостью не могут прийти в себя, заболели бессонницей. Видимо, эта молодая популяция пермяков будет побиче нас . . .

«Штабеля гробов на рисунках детей Спитака. Выставка подготовлена активистами детского фонда им. Ленина Армении».

Знакомые звонят в областную партийную газету: узнать о прогнозах по землетрясению. Им отвечают, что ничего не знают.

Муж говорит, что даже если катаклизм и мы обречены, то все равно все мысли наши в ноосфере написались, опечатались, а она не умирает, не то что тела.

Решила позвонить Беликову в «Молодую гвардию» — они наверняка лучше информированы.

— Это, Нина, знаешь, кому выгодно — такие слухи? Вора. Многие же уедут из города на эти дни, вот и будут ограбления . . .

— Хорошо сегодня поработали, написали, обогатили ноосферу. — Я решительно ложусь с газетой на диван, чтобы отдохнуть.

— Нина? — пришла соседка-приятельница. — Ты мне поставь 5 уколов через час, а?



том, что она — беременна и уколы — чтобы скинуть.

— Слушай, мне совершенно нельзя ничего безразличного делать! Я ж себя хорошо знаю. А решать жизнь твоего ребенка — не мое это право.

Соседка смотрит на меня умоляюще, и я прокручиваю в голове: деньги у них беспрерывно занимаю — раз, за солью-содой-лекарствами часто забегая — два, по телефону от них в Москву звоню — три... Беру пилку и подпиливаю ампулу. Раз! Отломил и располосовала себе руку. Кровь хлещет, соседка бледнеет, а я объясняю:

— Мне же ничего этого нельзя, у меня с ноосферой слишком тесные отношения, — я пальцем показываю вверх.

— Да? Так ты спроси у своей ноосферы: будет землетрясение или нет?

Кооператор Андрей получил зарплату (тысячу рублей) и принес нам в подарок роскошный букет гладиолусов, палку копченой колбасы, два ящика пива, приемник за сто с лишним рублей и еще шестьдесят рублей так дал. Первая моя мысль при этом: ему-то от хорошей жизни страшнее ждаться катаклизма!

Купила книгу Льва Гумилева, и тут Оля Марлина привозит книгу Николая Гумилева. Поставила их рядом. Встретился отец с сыном.

— Теперь понятно, почему чукчи-так добры и доверчивы — это старый этнос, — потрясая книгой Льва об этногенезе, говорит муж (он читает ее беспрерывно и уже совершенно огулмилел).

Вернулся (демобилизовался) знакомый с китайской границы. Говорит, что студенты каждый день по сто человек переходят границу. Их не останавливают ни с той, ни с другой стороны. Что это значит? Скорее всего то, что есть договоренность с Горбачевым, который распорядился этих китайских студентов переправлять обратно, в автобусе, без шума...

— А Запад верит, что Горбачев — демократ!

— Запад — это чукчи! Старый этнос. Поэтому он доверчив и добр.

— Возможности человека! Да кто их измерил! Вон на пожаре поездов под

Уфой — читали? — один солдат выбрасывал в окно детей, спасал. Много спас. А потом и сам выполз, но когда его увидели, никто не мог понять, как он стоял, ведь остались одни обгоревшие кости вместо ног! А он на них еще стоял и детей выбрасывал!

Это пьяные гости восхищаются мужеством и героизмом советского человека. Если будет катаклизм в Перми, опять столько возможностей для героизма!

Вывихнула руку, когда в бешенстве тушила сигарету. И все этот съезд! Сегодня последний день. Сто тридцать делегатов предложили немедленно принять их программу помощи малообеспеченным. Горбачев отвел все это. А Даша в это время ревом просит вишни (увидела у соседки на кухне). Но денег нет. И я тоже чуть не плачу из-за этого подлого съезда, который не помог малообеспеченным. Мне бы вишню демократии.

— Хоть немного! — умоляет Даша (ей 6 лет, она не умеет терпеть).

— И мне хоть немного, — говорю я.

— Я сейчас хочу! — повторяет она.

— И я сейчас хочу! — чуть не плачу я, вполне понимая, почему детей не удовлетворяет «потом».

Муж:

— От твоих криков съезду «Тундра!» ноосфера ведь не обогащается, она, наоборот, бледнеет, так как тратит силы на поддержание тебя, а ты во время криков подразрушаешься.

Встретила коллежанку. Разговор, конечно, о катаклизме.

— Я приготовила все золото и ношу с собой: цепочку, серьги, кольца. Если начнется и я спасусь, то всегда есть жадные люди — купят у меня. И я на эти деньги первое время буду жить...

У мужа в магазине директриса сохраняет два тома Брежнева.

— Зачем вам?

— А вдруг снова его будут читать?

— Не надейтесь! Это был преступник, который сумел ускользнуть от наказания. И все его речи — обращения к таким же преступникам.

Директриса недоверчиво отворачивается. Будет она слушать какого-то грузчика!

Перед тем как сдавать в закуп Вознесенского, я перечла кое-что. Пастер-

нак ему писал: «вековая преемственность счастья, называемая искусством»... Вот потрянет нас, и все — никакой преемственности...

Только из «Советской молодежи» (Латвия) можно узнать все подробности о преобразованиях в Польше и в Венгрии. Наши центральные газеты пишут сквозь зубы что-то невразумительное.

— Буш поверил Ярузельскому, что тот — демократ! Ну и ну!

— Чукчи. Старый этнос, — один ответ у нас.

Вся знакомые летача по телевизору у экстрасенса Чумака. Многим это помогает. Умереть здоровенькими хотя — никогда эта формулировка не была так верна, как нынче...

В Спитаке среди груд битого камня вся жизнь, похоже, развернулась вокруг нескольких десятков вагончиков, в которых разместились райкомы партии и комсомола, городские организации и учреждения. На одном из вагончиков вывеска: «Кабинет политпросвещения». Многочисленные плакаты призывают не вести беспорядочной половой жизни...

Да, нельзя вести беспорядочную половую жизнь посреди руин после землетрясения! На дворе страны социализма 1989 год. А вот строки из бунинских «Окаянных дней».

«20 апреля (Одесса, 1919)

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах возвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепя еще спорт?»

Вся разница в том, что Бунин пишет «совершенно невероятно», а мы уже этого не пишем. Привыкли.

Встречаю приятельницу. Первый ее вопрос: Ты плаваешь хорошо? — Неважно. — А я вообще не умею. Что делать-то?..

Пришел Р. У него умер внук трех дней отроду. В роддоме матери занесли желтуху, при родах ребенку слома-

ли позвоночник. Хватило бы одного чего-нибудь, но у нас ведь любят вредить на все 200 процентов. Р. хотел, чтобы я отвлекла чем-нибудь его сына и невестку, но у всех у них такой вид, что никакой катаклизм не страшен, жить-то не хочется. Как в этом случае развлекать?

Структура повседневности. Иду мимо хозяйственного и вижу: валяется красный флаг. Почему? Потому что я должна написать где-нибудь об этих девочках, сорвавших флаг. Это напоминание — голос слыше мне.

Котенок красивый, как обложка книги «Тысяча и одна ночь». Узор подробный такой на спине, вздрагивающей спине. Кристина спрашивает:

— Теть Нина, куда вы котят от Мирзы деваете? А то мама этого котенка с работы принесла, пожалела, мужики их там в печь бросают (металлурги), а мама пожалела.

Наташа: — Как можно такого красивого в печь!

— А некрасивого можно? — спрашиваю я, любящая котенком, который спит и вздрагивает — снится ему эта печь?

— Прямо их в печь, — повторяет недоуменно Кристина.

Это наши советские люди.

Р. видит мое подавленное состояние:

— Пойдем к цыганам. Я там одну леплю. Ты посмотришь, как цыганка доверяет земле, когда садится на нее...

— Ты чего — не знаешь, что ли? Погром цыганский был недавно, их побили сильно, разогнали.

— Я слышал, что погром был на рынке, торговцев южных били, но про цыган... нет, не слышал.

Передача по пермскому телевидению о землетрясении и наводнении, то есть опровержение. Очень слащавая, то что называется «Позвольте вам не позволять». Мол, и Ванге — прорицательница — звонили, она заверила, что ничего такого не прорицала, в общем, только с пришельцами из Кишerti не связались, а так — со всеми. И все говорят: спокойно! Ничего не будет.

После передачи народ еще сильнее запаниковал. У нас так привыкли:

власти опровергли, значит, точно будет . . .

Н. приехала из Ленинграда. Говорит, что там начались массовые выходы из партии.

Даша: — Приснилось, что Маринка, которая внизу живет, стала королевой, позвала нас в сад, а там волшебные яблоки, ветки наклоняются и говорят человеческим голосом: «Залезай!» Там наверху гнездышки, мы в них забрались и ели яблоки — сколько хотели . . .

В этом сне вся тоска моих детей по фруктам. Конечно, нужно выходить из такой партии, которая даже детям фрукты не может дать. Но Слава мой еще три года назад вышел в знак протеста. Очередь за другими.

Стоим в очереди на отоваривание многолетних. Я ворчу, что гречу опять не выдают. Слава старается отвлечь меня: ну откуда эта греча, ее и не сеют, разве уж в Кремле только деланка есть — для членов политбюро . . . Ну, и наша рабская очередь тут же начинает нас осуждать.

— Молодые, сами можете выращивать, — говорит старушка.

— Можем, конечно, только вот не знаем, с чего начать; гречу выращивать, колбасу делать или мыло варить? — отвечаю я.

Старушка невозмутимо рассказывает:

— А что, я варила мыло, не мыло, а подмылье. Собаку дохлую найдешь, кишки сварить — подмылье. С ним стираешь. Вонь, конечно, но мыла не было тогда . . .

Всюду в СССР разыгрывается пьеса Петрушевской, одна большая пьеса Люси . . .

«Ребятам, которые потеряли только мать или только отца или не потеряли родителей — нет путевок ни на какие курорты . . . А ведь многие из них по 3—4 дня провели под руинами, боролись со смертью».

Это лето после землетрясения. О, Бунин бы, добрая душа, тут столько желчи вылил! А журналист наших дней уже ничему не удивляется . . .

— Мама, говорят, спичек не будет, я купил сто штук на всякий случай. — Антон кладет на шифоньер груды коробков.

Пришедшая в гости Т. Т. издевается: да-да, спички очень пригодятся во время наводнения: можно плотик сделать или соскоблить селитру и фейерверк — знак подавать спасателям, что мы здесь . . .

— Ты ничего не запасаешь? Честно?

Т. Т.: — Я как интеллигентный человек не поддаюсь панике, поэтому купила не десять пачек соли, а только две. Хотела три, но не смогла в себе истребить интеллигентность до конца . . .

До катаклизма — ровно неделя! . .

Ночью проснулась от грохота. Началось? Что делать в первую очередь? Вскочила, смотрю: это кошка уронила со шкафа наши сто коробков спичек. Вечно она рыщет по верхам в поисках места, куда нужно перепрятывать котят, это у нее в генах заложено.

А нам, советским матерям, где спрятать своих детей, чтоб спасти? Закурила на кухне, на всякий случай проверив запас соли.

Анекдот. Приближается новый этап социализма. Этап, стройся! В лингвистическом отношении гениально подмечено единство партийной и гулаговской лексики.

Опять в гостях Т. Т.

— Горжусь, что мне за десять лет работы в вузе прибавили двадцатку, стала получать 185 рублей, а сын говорит: «Мама, ты так много работаешь, а так мало получаешь!» Он вообще все время возмущается: «Проклятый город — некуда пойти! Проклятая страна — нет детских книг в продаже». Мне странно это, мне б хотелось, чтоб он возмущался: нет свободы, а он все из-за потребления (ему, впрочем, десять лет). Но мы сами теперь поняли, что свобода возникает на основе потребления, это все связано, оказывается, а нас учили с детства: не потребляй, главное — духовное . . .

Сын принес почту, в том числе журнал «Вопросы истории». На его обратной стороне чернеет яркая реклама книги «Великий Октябрь. 70 лет. Научно-технический и социальный прогресс. Цена: 3-90».

Т. Т. чуть не плачет:

— Прогресс . . . Что и говорить. Студенты так изменились. Нет, я устала,

хочу уволиться, я еще Оруэлла читала, принимаю экзамены, а студенты такие тупые, словно вышли со страниц романа Оруэлла, мне хотелось повеситься прямо в аудитории — последнего я бы принимала прямо удерживая на табуретке и намывливая веревку, но вспомнила, что мыла нет...

Она же:

— Когда-то Ася привезла из Польши новость: нет сахара. Я подумала: разве может такое быть? А теперь я думаю: разве бывает, что сахар есть? Что его сколько угодно? Да всегда он был по талонам. «Пусть всегда будут талоны!» Вот как быстро перестроилось наше сознание!

— Перестройка ведь сейчас.

Идем с Дашей в магазин. Вдруг она остановилась перед фонарем:

— Мама, вот такой точно высоты была та яблоня! (Имеется в виду та волшебная яблоня в ее сне — значит, она все время о фруктах думает!)

Встреча с депутатами. Обкомовская дама выступила с обвинением Виниченко (главы «Диалога»). Тотчас народ ее освистал, сгоняя с трибуны. Она вдруг им ответила:

— Вот так же и Сахарова сгоняли с трибуны!

О, Бунин, где ты?

Оказалось, что только один депутат К. вступил в межрегиональную группу. О. и Н. стали тут же звонить в обком и жаловаться на главу «Диалога»: опять-таки, Виниченко тут с них много требует, а они не хотят быть как все, они хотят оставаться личностями! Это будет почище, чем сравнение обкомовской дамы (самой себя!) с Сахаровым. О, Бу...

Недавно я обнаружила, что это не просто случай — целое явление! Вот осудил Рассадин в «Огоньке» за антисемитизм Ст. Куняева, а тот в ответ взял да и погрозил в «Московском литераторе»: если Рассадин не извинится, то Куняев даст ему... пощечину. Вот как! Все хотят быть как Сахаров. Сахаров дал пощечину своему обидчику, — так тот на всю страну оклеветал жену Андрея Дмитриевича. А Куняев хочет быть как Сахаров, но только даром. Нет, чтоб сначала выступить в одиночку против войны в Афганиста-

не, поехать в ссылку и проч. Чтобы быть «как Сахаров», надо быть Сахаровым!

Пора понять, никакой Бунин на помощь ко мне не придет, надо обходиться своими силами, хотя они и подорваны советской властью. Но ведь власти у Советов не было? Не было. Значит, никаких антисоветчиков быть не может, если и Советов-то у нас не было...

Мила Х. устала от съездовской формулировки «как правило». «Депутаты могут работать в Верховном Совете как правило». На самом деле значит — изредка.

**ВЛАСТЬ, КАК ПРАВИЛО, СОВЕТАМ!**

Такой плакат написала она для этого митинга. Смеялись даже милиционеры. А Мила просто рассуждения из одного сосуда перелила в другой — более просторный...

Приступ за приступом. Почки. И телевизора у нас нет, чтоб у Чумака лечиться, у денег на него нет. Аптеки пустые — ни невирамона, ни нитроксилина.

— Толя, я к тебе, что ли, буду ездить лечиться по телевизору?

— У Чумака? Ты думаешь: он лечит? Да он внушает всей стране любовь к Горбачеву, а вы поверили: лечит... Святая простота!

Чем выгодно сдавать в закуп книги, так это тем, что их я перед сдачей перечитываю. Пришел черед и Герцена. Вот князя Долгорукого ссылают из Перми в Верхотурье (за проказы). Он сзывает всех чиновников на прощальный обед, обещая угостить неслыханным пирогом. Чиновники не устояли, приехали, пирог оказался действительно божественным. Когда его съели, князь патетически заявил:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога. — И велел тут же принести шкуру Гарди — внутренности были в пермских желудках.

«Полгорода занемогло от ужаса», — пишет Герцен.

Вот вам царские чиновники. Их свергли. И что? В Перми нынче на выборах прокатили первого секретаря обкома, но он не только не занемог от стыда, но еще и выступил по ТВ и сказал: зря вот вы меня не избрали, ибо, будучи в Верховном Совете, я

смог бы больше сделать для города, а так — не смогу . . .

— Она работает зав. отделом в райкоме партии. И вот у нее страхи, что их будут обливаться бензином и поджигать, как в Фергане — так было, именно райкомовских почему-то поджигали . . .

Я содрогаюсь. Воспитывали народ в нетерпимости к инакомыслящим, теперь, когда терпеть и х уже у народа нет сил, опять та же нетерпимость и жажда крови, крови. А к чему это приведет? К замкнутому кругу . . .

«Окаянные дни» Бунина я очень ценю: правдивая и великая книга. Но сколько личной ненависти! «Революции не делаются в белых перчатках» — что ж удивляться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах».

Но кровавый круг должен же когда-нибудь разомкнуться?

В очереди за курами. Стою второй час. Очередь злее ста Буниних, вместе взятых.

— Дожили, три недели курицу в городе не видели! Ничего нет, двадцать пять граммов колбасы в день по талонам . . . И в магазинах больше ничего . . .

До катаклизма осталось трое суток.

Радиостанция «Свобода» передает интервью корреспондента «Вашингтон-пост» с Ниной Андреевой. Она сначала говорила о том, какие принципы были у ее поколения и почему с ними не нужно расставаться. Потом говорила, что письмо в «Советскую Россию» она написала сама, правда, под влиянием статей Проханова. Правда, и редакция добавила несколько цитат, но они только прояснили смысл.

Потом Нина Андреева угостила гостя обедом. Как заметил американский журналист: все русские консерваторы, как правило, хорошие кулинары. Судя по бедности ленинградских магазинов, все это было не с прилавков. (Откуда? Мой вопрос: кто кормит Нину Андрееву?)

Потом Нина Андреева и ее муж провозжали гостя по улице. Она сказала, что письмо, прежде чем его публиковать, газета дала прочесть не только Егору Лигачеву, но и Михаилу Горбачеву, и он совершенно ничего не имел против.

Мы с сыном чуть не упали, как та старуха у Хармса («Старуха так и повалилась»). Когда-то моя подруга сидела у нас в гостях и ругала речь Лигачева, противопоставляя ему — Михаила Сергеевича. А муж мой: да что, они ж просто договорились, что Лигачев играет консерватора, а Горбачев — либерала, чтоб будто бы плюрализм.

И тут моя подруга серьезно обиделась за Горбачева. А вот и пожалуйста! Мы-то думали, вылазка против Горбачева — это письмо Нины Андреевой . . . И не только мы! Рой Медведев на съезде сказал, что всегда без Михаила Сергеевича случаются такие вещи!

Все газеты печатают материалы о пришельцах и летающих тарелках в Пермской области. Под Кунгуром. Там много было лагерей с политзаключенными. Почему именно там?

— Известно ведь, что инопланетяне летают над теми местами, где много нравственно чистых людей.

Кооператор Андрей с очередной зарплатой дарит две десятки: новенькие, как накрахмаленные.

— Наши обесценивающиеся деньги. Все время в банке выдают новые купюры. Станок, видимо, печатает и печатает. Во всем банке нет ни одной старой купюры.

Выбрасывала старые газеты. Вот статья Карякина о том, как били академик Сахарова в КГБ. «Старика били!» — возмущается Карякин. И потом — ни одного ведь письма в «КО»: кто это конкретно бил? Как фамилия? Фамилию бывшего Вавилова мы, видите ли, знаем: это Хват. Даже знаем с заседаний Верховного Совета, что сын Хвата прекрасно пристроен в высшем эшелоне власти. А вот недавно, на нашей памяти, били академика Сахарова, и никто не спрашивает фамилию . . .

И тут я подумала: а меня соседка по кухне Люба как била! И сковородкой в меня кидала, и кофейником, и просто ногами пинала. Да кто ж из советских людей не бит-то? Где он, такой человек? . . .

Выбрасываю «Молодую гвардию», там интервью с Куняевым. Местный писатель — Тюленев — съездил и взял интервью. Как же: крайняя необходимость в мудрости Куняева. Мудрость

вся в том, что виноваты масоны и евреи. Еще — рок-музыка. Вот он возьмет двух людей, один любит рок, а у другого сердце щемит от песни: «Меж крутых бережков Волга-речка течет». Кому из них он поручил бы, например, очистку великой русской реки Волги? Конечно: тому, у кого сердце щемит.

Я села за машинку и напечатала: «А нет ли статистики, сколько было любителей русской народной песни в Министерстве водного хозяйства, загубившем Волгу? А среди администрации Чернобыльской АЭС? А вот в Гулаге, по слухам, вообще не было ни одного любителя рока, но не спасло нас это...»

Муж ворчит: неужели Залевская печатает твоё письмо, ты же одиозная личность. Тогда я подписываюсь: слесарь Ильичев.

Приходит «Молодая гвардия», и там напечатано моё письмо...

Встречаю своего участкового врача.

— Так вы приезжайте за рецептом, Нина Викторовна!

— Почему приезжать? Вы же — радом.

— Вы разве не знаете? Нас затопило. В пятницу вечером вскрыли крышу для ремонта, а в субботу дождь, ливень... Все. Паркет встал дыбом, обои сползли, аппаратура полетела... Мы сейчас переехали на Юбилейный... ремонт года два продлится.

Никаких масонов нам не надо. Сами себя загубим.

Покупаем Даше форму — в первый класс. Муж ворчит:

— Как подумаю, что Дашу примут в октябрю, что она должна петь: «Так назвали нас не зря — в честь победы Октября!»

Даша: — Папа, я не буду петь, я буду только рот открывать.

В гостях друг дзен-буддист. Он спокоен. Провал перестройки не должен мешать счастью. Карму-то нужно и можно улучшить. Выбрать объект любви (дети, творчество и так далее). Чем сильнее связи между собой и им, тем...

— Ну вот ты так говоришь, а как же те две тысячи, что взорвались под Уфой? Они ехали мирно в поездах, кого-то любя, улучшая карму. А тут —

бах! — смерть! Газ взорвался. СССР и карма, знаешь...

— Но конца ведь нет. Их души пойдут по новому кругу, но уже будет учтено, о чем эти люди подумали в последний миг. Все им зачтется.

Поистине, пора переходить в дзен-буддизм.

Муж забрал последние деньги и уехал на похороны отца. Я пыталась купить нитроксолин у спекулянтов, но это не по карману. Лежу, наложив руки на почки, чтоб хоть немного было легче. Приходит подруга. Говорит, что приехали из Финляндии. У них дача в Ветлянах. Они называют: дача в Финляндии. Значит, продвинулась еще: Финляндией окрестились... Но оказывается, она была в самом деле в Финляндии, по путевке. Там в парламенте приставные места — для гостей. Мы тут кайфуем, что нам по ТВ показывают Верховный Совет, наш парламент, — какова, мол, гласность-то, а! Верх всего! А там можно любому прийти и послушать. Так вот в данный момент на повестке дня два вопроса: как понизить производительность труда и с восемнадцати или с семнадцати лет выплачивать каждому финну прожиточный минимум.

— Меня больше всего возмущает, — восклицает подруга, — почему нас-то не спрашивают, какой мы строй хотим!

— В Польше вот... прокатили коммунистов на выборах. Победила эта... Ссс...

— Что с тобой? Что случилось? Почки? Ты из-за смерти Славиного папы?

Со мной случилась истерика. И не из-за смерти Славиного папы. А из-за смерти иллюзий.

Подруга ушла, пришли другие гости, третьи, истерику не могли остановить. Стало плохо с сердцем, в аптеке не оказалось ничего сердечного. Вызвать «скорую» — нет одноразового шприца, а их шприц рискованно-грязный... К счастью, помогла одна сигарета, которую предложил сосед.

Читаю в «Советской молодежи» про митинг «Памяти» у памятника Свердлову в Москве. Как они надели на него венок из колючей проволоки, обвиняя во всех грехах евреев. Значит, плохо дела, если в ход пустили эту «Память», отвлекать народ от бед, натрав-

ливать на инородцев. Известно всем, что правительство материально поддерживает издания «Памяти»: «Наш современник» и «Молодую гвардию».

Иду на почту по Комсомольскому проспекту. Черные облака из труб, слева, за остановкой Чкалова, какой-то очередной пожар, дым, на всех парусах плывут «пожарные». Насколько счастливее нас Бунин! У него всей этой крови, крови, крови и глупости революции противостоит природа-матушка: в каждой записи то лазоревое небо, то чистые облака. А у нас полная гармония: и общество прогнило, и природу загубили.

Вот среди привычного потока мыслей, параллельных бунинским «Окаянным дням», вдруг вижу: демонстрация «Памяти» идет к памятнику Свердлову (он у завода Свердлова, за моей спиной). Человек тридцать, все в черном! Среди бела дня, по аллее Комсомольского проспекта! С плакатами все. Впереди кто-то руками размахивает, митингует. И две метлы несут. Видимо, рядом с плакатом: «Выметем евреев из СССР».

Лихорадочно соображаю: засесть в кустах и закидать их грязью (благо ее навалом вокруг) или подбежать и крикнуть что-нибудь им вызывающее, вроде того, что выгоним евреев и совсем Нобелевских премий не будет. Такой генотип, радовались бы, что есть талантливая нация, можно скрещиваться...

А сама между тем бегу навстречу, ну и они тоже не стоят на месте. Вдруг вижу: это домоуправша ведет отряд дворничих куда-то со скребками, что-то срочно очистить нужно, кажется, овощной летний магазин, который за зиму зас... ли. Дворничихи идти не хотят. Домоуправша размахивает руками, убеждает. Все в черных халатах, как водится. Ну и две метлы. Проклятый дым от пожара! А если б я не побежала, а засела в кустах и обстреляла их грязью! Утром областная газета бы сообщила: «Преступность растет. Вчера известная экстремистски настроенная писательница Горланова закидала из кустов грязью группу дворничих, мирно идущих по своим очистительным делам».

До катаклизма осталось два дня. Кур нет. Есть в кулинару голубцы, но по 40 копеек штука. Для моей семьи это дорого. Но делать нечего, покупаю

всем по одному — шесть. Положила в холодильник, лежу, почки болят. Входит Соня. Говорю: купила голубцы, надо пожарить. Полуфабрикаты...

— Да? А их жарят? А я так съела — очень мяса хотелось.

Пришла Галя К. и сказала, что будет не природный катаклизм, а погром. Еврейский. Ну, уж если был цыганский, был погром южных народов на рынке, то, конечно, следующий — еврейский. Даже если это слухи, то какая подлость по отношению к евреям.

— Если начнется заварушка, нужно делать ноги, — говорит мой муж, преподаватель иврита.

Я выронила бутерброд с маслом, конечно, маслом вниз. Муж начинает голосом «Памятника»:

— Закон э-э бутерброда! Евреи его открыли. А что это означает, э-э? Что у них-то всегда есть хлеб с маслом, которым они к тому же и бросаются!

Все знакомые разделились на две группы. Одни — нормальные, другие — антисемиты. Бесконечные споры.

— Нина Викторовна, а у Дзержинского все руки в крови! — говорит Оля Г.

— А у Сталина не в крови? А у Берии? Тем не менее они не евреи.

Муж мой бормочет: Дзержинский — тоже не еврей, поляк он, причем дворянин.

Ну вырежете вы всех евреев, потом кого? А вот молдаван! Они одни учатся по облегченной программе — обычная им не по плечу. Мой муж — наполовину молдаванин — считает, что причина этого — кириллица, навязанная молдавскому языку, насильственно введенная... Покончив с молдаванами, за кого приметесь, на ком отыграетесь? На толстых. А дальше? Маленького роста людей? Ну а потом? Потом — через одного...

Так я бормочу, идя по улице в магазин. Видимо, со мной что-то не то, потому что боковым зрением вижу, как на сохе пролетел по небосклону Василий Белов. А ведь был, вроде, писатель.

— Он и Распутин — оба определенного типа. Писатель-чувствитель, а есть писатель-мыслитель. Маканин, например. Он никогда не станет анти-

семитом, — говорил как-то мой муж. — Почему? Потому что ум нужен в один момент . . . Как в той молитве? «Дай мне, Господи, силы — вытерпеть то, что нельзя изменить, дай мне силы изменить то, что можно изменить, и дай мне ум, чтобы отличить одно от другого».

Ума, чтобы отличить, им не дано? А может, кому-то выгодно, чтоб народ был отвлечен от основных проблем, чтобы в этой мутной воде половить рыбку . . .

В магазине все разговоры о погромах. Женщины настроены за.

— А то что: куда ни приди — везде одна нерусь!

— А может, рыжие во всем виноваты, — пытается пошутить один мужик.

Юмора не понимают. Хотя тут же рассказывают анекдот, очень тонко пародирующий стиль отчетов о поездках Горбачева.

Вот он:

— Как живете? — спросил Михаил Сергеевич у рабочих.

— Хорошо! — дружно ответили рабочие.

— Будете жить еще лучше! — пошутил Михаил Сергеевич.

В гостях Оля Мерлина. Рассказывает о знаменитом хирурге (костный онколог). Его сына дразнили жидом в первом классе, и папа хотел пойти побить дразнителя. Но жена умолила не делать этого, она уладила все путем мирных переговоров. Прошло десять лет. На прием к костному онкологу пришел юноша, рука которого торчала за спиной: такого дикого выверта кости даже профессор еще не видел. И он начинает лечить юношу, носит ему из дома фрукты, обработанные его другом-психотерапевтом. Без конца говорит о мучениях этого несчастного у себя дома, и жена наконец не выдерживает: чего он носит с этим поддонком, который в свое время обзывал их сына жидом и только за десять рублей, врученных его родителям, перестал . . . Профессор слушает, кивает, а потом отвечает: да-да, что-то вспоминается, но ведь теперь это самый тяжелый больной в его отделении, нужно вылечить.

— И таких людей мы будем называть врагами, — начинаю я бегать по комнате — завелась.

— Это что, — говорит Оля. — Недавно жена уговорила пойти хирурга в

хозяйственный магазин, что-то для кухни купить. И там он увидел позолоченные ложечки. Надо, говорит, купить его пациентам-детям, они так долго лежат в отделении, надо их чем-то порадовать. Купили двадцать ложечек. По четырнадцать рублей каждая. Через три дня жена по каким-то делам зашла к мужу на работу, ложечек не было. А где они? Ну, пожал плечами профессор, наверное, на кухне, моются . . . В то время как их давно растащил персонал. Больные-то лажачие, не могут ничего поделать . . .

Друзья мужа — евреи — звонили в МВД Перми, спрашивали, готовы ли те спасти от погромов жителей города.

— К нам не поступало никаких сигналов! — был ответ.

— А если уехать на дачу? — спрашивает Люся Г., жена еврея. — Может, там отсидимся?

— Это еще хуже, там ни телефона, ни больницы . . . — говорю я. — Я собираюсь позвонить друзьям-евреям и пригласить их ночевать эту роковую ночь у нас. Может, вместе-то отобьемся.

— Что меня в евреях раздражает, так это их умение использовать любовью малюсенький талант на полную катушку, — говорит мой приятель-журналист. — Русскому человеку в голову не пришло бы это реализовать.

Муж мой морщится:

— Ты Льва Гумилева-то читал? Это пассионарный этнос, вот и все.

— Чем какие-нибудь монголы хуже их? — не сдается приятель.

— Не хуже, но у них уже позади пассионарная стадия, когда они шли на нас полчищами, они были пассионарии, а сейчас этот перегрев позади. Евреи же экономно тратят запас энергии, долго будут активными.

Я просто не могу вынести таких сугобо теоретических доводов, когда есть такие жизненные. Вот наш союз писателей взять. Пермский. У всех таланта чуть-чуть, почти и незаметно. Исключения? — одно-два. Ну, какой талант у Т.? Да 0,0001 процента. Но они все русские. И все используют эти 0,0001 процента так, как если б было сто процентов! Все стали членами союза, живут на гонорары и прочее. А все русские! Как это объяснит Вася? Вася молчит. Нечего сказать. Действительно, говорит он, у некоторых нет



даже и этих долей процента таланта, совсем ничего нет, а они жизнь из этого сделали.

— Это даже какие-то сверхреи, — кричу я, заведясь и размахивая руками, и роняя вазу с цветами...

Т. подал заявление в партию.

В «союзе» он повесил огромный рекламный плакат о «Товариществе русских художников». Под сенью МВД они собираются. Так и написано. Тут люди борются против существования министерства культуры, против союза писателей с его казарменными порядками. А другие в это время ищут себе казарму в начальники! МВД в качестве Музы! Это могло прийти в голову только «поминкам» (так у нас сейчас зовут членов «Памяти»). Такое гнусное поле исходит от всей этой смеси МВД, «Памяти» и чисто русской души.

— Почему вы вступаете в партию, когда все бегут из нее, как крысы с корабля? — спросили Т. в горькое.

— Потому что Распутин в нее вступил.

Читаю младшим вслух про Ростроповича. Воспоминания Вишневской. Соня пришла, включила утюг, гладит и тоже слушает. В том месте, где Вишневская прощается со сценой Большого театра, мы все зарыдали. Агния от перевозбуждения даже заснула, а Даша все гонит меня: «Читай дальше, читай!» Прочли. Спрашиваю: что больше всего запомнилось? Даша говорит: как она со сценой прощалась. И тут Агния проснулась, собралась гулять — уже дерутся из-за плащика!

— Даша, вот Ростропович дачу Солженицыну отдал, ничего не пожалел, их за это и с родины выгнали, а ты плащик родной сестре жалеешь!

Вы думаете: это подействовало на мою шестилетнюю дочь? Ничуть. На ее лице появилось выражение примерно следующего содержания: одно дело Солженицын, он почти бог, для такого не жалко дачи и даже родины, а для Агнии — мой плащик, почему я должна жертвовать?!

— Зря, значит, я все это читала вам. Больше не буду читать.

Это ее серьезно проняло. Отдала плащик Агнии.

Как статья антисемитом. Рассказ-алгоритм. Пройти мимо «Мест нет», «Пива нет», «Мыла нет», «Песка нет», «Тетра-

дей нет». Войти в свою квартиру и обнаружить, что воды тоже нет. Забыв закрыть кран в ванной, выйти в булочную и обнаружить, что хлеба в ней уже нет, пойти в другую, в третью, вернуться и понять, что вода есть. И есть уже счет от затопленных соседей снизу. А фамилия у них еврейская. У адвоката фамилия русская, но морда — точно еврейская. У второго адвоката и фамилия русская, и морда русская, но «р» еврейское...

Кто виноват во всем?

1. Дьявол.
2. Империализм.
3. Инопланетяне.
4. Евреи.
5. Экстрасенсы.
6. Мафия.
7. Бюрократы.
8. Неформалы.
9. Кооперативы.
10. Гласность.
11. Исторические корни.

В гостях Виталий К. Гений есть гений. Он рассказывает, что подошел к Т. и сказал: если только подтвердится, что тот имеет отношение к слухам о погромах, К. возьмет у деда двухстволку и лично разmozжит череп антисемита. Хотя бы так сказать, и то нужна смелость. И вдруг спохватываюсь: круг мести покатится, и ничего хорошего из этого тоже не выйдет...

В гостях два гения-алкоголика. Они принесли водку. Изумляются, что мы чем-то озабочены, когда есть семья-взаимопонимание (их давно бросили жены).

— Ну о чем вы говорите — такая жара, — смущенно бормочет мой муж.

— Мы все в поту, — не менее смущенно говорю я, чтобы хоть что-нибудь сказать, подавая гостям стаканы.

— Теплая водка, стаканами, в жару! С удовольствием. Потные женщины, в жару, летом, — с удовольствием!

— Почка моя непрерывно болит, — перевожу я разговор.

— А это уж, матушка, сама виновата. У нравственных людей ничего не болит. Где-то проштрафилась перед... (жест вверх).

Все совпало: призыв государства (тоталитарного) к покаянию (тоталитарному) и презрение двух друзей-философов. Начинается трехчасовой период покаяния. Безостановочно:

— Соня, возьми картошку в том ящике, который я украл с молокозавода, — говорит мой муж.

— Я масло облепиховое так и не достала, медицинское, — рассказываю я.

Письмо о масле опубликовала «Советская молодежь». Женщина два года лежит в параличе и криком кричит от боли, когда ее переворачивают. Пролежни. А масла нет. И я решила: надо достать. С этим письмом отправила Антона в наш административный отдел аптеки. Нет, не дают. На следующий день послала посылочку с пропоциумом. Приложила книжку (красивое издание «Манон Леско», мало ли, кто-то ухаживает за женщиной, возьмет себе в компенсацию . . .)

На следующий день пошла в гор-здрав. К заведующему. Это мужчина с широкозакранным, хорошо насиженной задницей. Понимаю: к такому можно и не обращаться: бесполезно. Но там — женщина кричит от боли. И я обращаюсь: по милосердию, вот заметка, надо помочь.

— Да мы сами обращаемся в аптекоуправление!

— Но мы с вами не парализованы! Кроме того, я такой человек, что это масло все равно достану! Придется ли для этого мне поднять всех журналистов города, выступить ли на клубе «Диалог», устроить ли демонстрацию, но масло эта женщина получит!

— Идите к С. в аптекоуправление . . .

— А может быть, вы ей сначала позвоните? Одно дело, я приду, другое дело . . .

— Я вам сказал, что сам туда звоню, вот сегодня звонил . . .

— Ну и позвоните еще.

— У меня нет права.

— Что за фашистская страна, — говорю я в сердцах и иду к С.

Ее нет, а почка у меня болит, ждать не могу. Поэтому все рассказываю ее секретарю, снова громко про демонстрацию, которую я устрою, но . . . В общем, оставляю газету, беру телефон С. и начинаю бегать звонить через каждые полчаса (из дому). Секретарша отвечает, что С. у начальника. Мне уже ясно, что она скрывается от меня, но на другой день я иду к Ш. и снова звоню от нее. Нет С. Вот так. А прежде чем оставить вырезку из газеты, я спросила секретаршу: «Ваша С. как — слово «милосердие» слышала хотя бы?» — Да, она у нас ничего.

Вот точное слово. Она — ничего.

Заняла у Людэ Ч. десятку на подписку «Молодой гвардии». К нашей местной молодежной газете дают приложение из двухтомника Пикуля. Пикуль-то мне на дух не нужен, но его можно поменять на фантастику. Валюта для дураков. Иду на почту, сидят частники и продают . . . облепиховое масло. Но как узнать: не подделка ли? Продавец — старик лет семидесяти пяти. Прикидываю: прошел коллективизацию, репрессии (не прошел, так пережил), войну, снова репрессии. Какая может быть совесть у такого человека? Ведь все уперлось в совесть рядового советского человека. Советский человек, слышишь меня? Нет ответа.

Купила маленький пузырек за шесть рублей, приложила прелестно изданный томик Лермонтова и послала. А разве это помощь? Надо было все-таки дать взятку старшей сестре любой больницы и купить медицинское масло! Каюсь, не смогла занять денег. И сейчас их негде взять. Но срочно хотя бы послать посылку с другими нужными дефицитами: бросаю в посылочный ящик импортный стиральный порошок, индийское мыло, зубную пасту, сахар, все, что есть дома. Но на душе не становится легче.

Бунин возмущенно пишет в «Окаянных днях» о молодом писателе Катаеве: тот за тысячу рублей готов убить человека, потому что хочет быть хорошо одетым, носить шляпу.

А сейчас во главе «Памяти» все писатели, поэты да критики. И они не за тысячу рублей, а совершенно бесплатно готовы убить всех евреев в нашей стране. Вот что значит 70 лет советской власти. Какой «прогресс»!

И все это члены компартии, а те, кто не члены, срочно вступают в нее, как Т.

На заводе им. Великой Октябрьской революции висит плакат: «Перестройка — продолжение дел Октября!» Нашли что написать. Толя К.: «Хоть бы переназвали как-нибудь, плюрабль, что ли . . .» Для основной массы мыслящего народа перестройка — продолжение дел Февраля, а уж никак не Октября . . .

Покаяние продолжается. Пришла вечером машинистка и говорит:

— Знаете, Нина Викторовна, ведь

мой муж ездил в Грузию восьмого апреля, он же перешел в спецназ. А наши пермские главные вояки что заявили на всю область: никого из области не было послано!

Ну, что врал и врут, никого не удивишь этим. А вот что я должна ответить машинистке. Она совестью мучается, ее муж, может, еще не совсем дерьмо, а преддерьмо? Я не нахожусь, что сказать. Если про преддерьмо, чтоб ушел из спецназа, а вдруг машинистка взбрыкнет и потребует пятьдесят рублей, что я ей должна?

Она уходит, а я начинаю мучаться: из-за пятидесяти рублей струсила сказать, что думаю. Но если нет у меня денег? ..

Бездна покаяния... Нет ей конца...

Самое неожиданное покаяние! Пришел Н. Н. Как будто между прочим кладет на стол мне бумажку: — Может, вам в творчестве пригодится. Это черновик... мой...

Разворачиваю и глазам не верю. Донос на нашего общего знакомого. За антисоветские разговоры. В КГБ. От июня 1984 года. Стиль-то каков: «И тут он с пафосом, достойным радиокомментариев зарубежных клеветников, начал говорить о том, как нарушаются права советского человека. А ведь сам недавно получил квартиру, женился, казалось бы, жить да жить...»

Чтобы написать про «пафос зарубежных клеветников», надо самому хоть раз их услышать! Проговорился... Ну и ну! Как прикажете реагировать?

— Ты бловик-то послал?

— Нет.

Но я в этом как раз не уверена. Спрашиваю:

— Почему? Почему не послал-то?

— Да как-то... Почему-то несомненно это с моим образом жизни.

Таня К.:

— Наконец-то я купила 25-й том Достоевского, где он против евреев! Ты знаешь, евреи ведь и скупают его и сжигают.

— Из чего ты это заключила?

— Так его невозможно достать!

— Много чего невозможно у нас достать! Тем более и остальные тома Достоевского мне никогда не попадались в продаже.

— Но я тебе скажу: остальные тома все-таки иногда бывают, а 25-й — почти никогда.

— Так, может, ярые антисемиты типа тебя себе его оставляют, не сдают в закуп.

Муж бормочет: зачем это слово «антисемит», нужно прямо: расист.

А Достоевский просто путал евреев с буржуазией. Мол, всегда найдется еврей, который спойт русского человека, так это просто означает, что у буржуа часто помощниками были евреи. Кроме того, после концлагерей фашистских уже и Достоевский бы не стал таких опасных тем касаться, он-то не знал, каков итог всего антисемитизма. Но сам-то он стоит за ассимиляцию, смешение евреев с другими народами (браки). Он не за погромы, как вы... расисты советские.

До катаклизма остался один день. А ночь? Ночью начнется?

Нурия, маленькая девочка, дочь моей знакомой:

— Теть Нина, а в городе образовали общество, которое ловит евреев (так и говорит: ловит).

Ш.: — Все-таки эта нация считает себя слишком умной, поэтому они стремятся к мировому господству.

— У меня столько друзей евреев, что-то никто из них не стремится.

— Ну, они маскируются.

Сильно, видно, очень замаскировались. Моя подруга, еврейка, умница из умниц, не защитилась к 45 годам, ее просили сделать Сомса («Сага о Форсайтах») негодяем, она недостаточно, мол, его, проклятого капиталиста, обличила. Но она не стала поступаться убеждениями. Теперь работает на полставки, за что ее третирует заведующая, на что моя подруга не умеет хамски возразить, как та хамски ругается. Но, оказывается, это все маскировка, подруга моя просто сильно замаскировалась таким образом, а на деле она уже близка к мировому господству!..

И Сталин, и Мао, и Наполеон, и так далее... Сколько было любителей мирового господства, начиная с татаро-монголов. И все — не евреи.

Наташа с утра принесла воду, «освященную» Чумаком. И мне сразу же стало помогать. Через час ни одна почка не болела! Еще страшнее умирать.

Вторым пришел Андрей. Рассказывает: мать его выписали из психушки.

Она встречает на улице коллежанку, та трещит без умолку:

— Вот мы над вами смеялись, а теперь таких, как вы, показывают по телевизору, каждый день, людей экстра-сенсы лечат... Не можете ли вы проконсультировать большого ребеночка?..

Мама Андрея:

— Вы ведь не только смеялись надо мной, вы меня в психушку определили. И теперь я не могу никого проконсультировать! Меня от этого вылечили.

Следующие гости: два гения с лосьоном. Пьют на кухне. Почему-то разговор о КВН.

— Хуже всех, конечно, институт международных отношений. Лучше всех — харьковчане...

— Неужели МГИМО всех хуже?

— Ну, отдаленно на людей они похожи, но на нормальных харьковчан не тянут. Там ведь все учатся дети номенклатуры, а кого может произвести номенклатура — даже нормальных детей не могут произвести.

— А вот эти дети спасутся во всех катаклизмах.

— Если ВЦ им позволит.

Какое ВЦ? Ах взвезная цивилизация! Ну вот, верили в бога, в коммунизм, теперь в буйстве увлечения инопланетянами мы опять весь мир обгоняем.

Дочери пришли из садика.

— Мама! Мама! Ты читала в газете, что в пионерлагере были инопланетяне? И воспитатели их видели!

Оказывается, уже неделю, как в Пермской области тут и там видят инопланетян. Я пошла к соседу за газетами и прочла массу интересного. Один ребенок бросил в пришельца камнем, в ответ тот погрязил («прицелился») чем-то похожим на расческу. Ребенок испытал страх, побежал прочь, а трава под его ногами в это время горела огнем...

Вот это самое страшное.

Почему?

Потому что в Древнем Риме перед гражданской войной (сторонников и противников Цезаря) тоже тысячи людей видели разгуливающих по городу мертвецов.

Муж объясняет:

— Когда существует социальное напряжение, любое природное явление может стать спусковым крючком. Какая-то природная аномалия есть в Пермской области сейчас, это точно, она и послужит спусковым крючком.

— Милый, значит, понервозятые и дети не видели инопланетян? А кого они видели?

— Они видели то, что хотели увидеть. Или, по Фрейду, то, чего боялись...

Полночь. Мужа нет дома. Он уехал к Бруштейнам обсуждать, как заниматься самообороной. На лестнице шаги, много мужских ног. Бегом обратно от нашей площадки. Почему бегом? Потому что бомбу подложили и спешат убежать, чтоб не подорваться. Значит, началось. Я — дрожа — выхожу в коридор, включаю свет всюду (на кухне тоже зачем-то) и протягиваю руку к замку. Страшно. Но я должна быстрее открыть, схватить бомбу и скинуть на головы тем, кто сейчас будет выбегать из подъезда — тем, кто ее подложил. Выскакиваю на площадку — ничего нет. Поднимаюсь на чердак — лужа мочи. Ага, это всего лишь анонимные алкоголики заходили по своим интимным делам... А я-то... Тут и муж вернулся. Рассказываю. Он мрачнее тучи:

— И все же лучше погибнуть от погрома один раз, чем много раз мысленно. Ложись спать.

Сон. Будто бы мы уже переехали в квартиру Соколовских, нам обещанную. Там из коридора есть дверь в кабинет, ее мы закрыли стеллажами с книгами, словно нет тут дверей. И там спрятали всех своих друзей-евреев и моих детей. Входят из «Памяти» (все мои знакомые) и мимо двери-стеллажа, но тут вдруг оттуда смех моей Агнии... Проснулась.

Поплакала в туалете, чтоб никого не разбудить. Покурила и снова легла. Утром увела младших в сад и встала в очередь в «Сельхозпродуктах» — за помидорами. Вдруг страшный грохот. Вилы грохота проткнули мне уши. Но сильнее того — крик женщин, стоящих в очереди. Как страшно все закричали.

Оказалось, пьяные грузчики просто уронили ящик с банками тушеного кролика (стеклянные). А мы-то... Но ведь сегодня то самое, «шестьдесят второе число»!

Обе посылки из Фрунзе вернулись с пометкой: «Адресат умерла». Поздно...

За весь день ничего более не случилось. Прошло какое-то время. Я успокоилась, хотя и не очень: в газетах каждый день сообщения то о взрыве атомной подлодки, то поезд с хим. веществами загорелся, то... Да и этих... инопланетян видят все чаще и чаще, целая экспедиция в Пермской области работала, входила с ними якобы в контакт. Об этом пишет... «Советская молодежь»! А где еще пермякам узнать свои новости? Конечно, в латвийской прессе!

И вот 18 августа открываю «Комсомолку».

«Одним недобрым апрельским утром жители Прикамья проснулись от неясного, грозного гула... Разразилось шестибалльное землетрясение. Очередной природный катаклизм был бы обречен затеряться в длинном ряду преследующих нас стихийных бедствий, если б не одно обстоятельство. Именно в районе землетрясения в 100 км друг от друга возводятся две АЭС...»

Неужели не все позади?



Никлавс Струнке. Латгалия. Из цикла «Бог, земля Твоя горит»



**АСПАЗИЯ** (Элза Пликшан, урожденная Розенберг, 16.03.1865 — 5.11.1943) — латышская поэтесса, драматург, супруга Яна Райниса. Первый сборник стихов «Красные цветы» издан в 1897 году. Затем выходят сборники «Сумерки души» (1904), «Солнечный уголок» (1910), «Охапка цветов» (1911), «Распростертые крылья» (1920), «Ночь ведьм» (1923), «Трехцветное солнце» (1926), «Время астр» (1927), «Путешествие души» (1932) и другие книги поэтессы. Последний сборник стихов «Под вечерней звездой» вышел в 1942 году. Собрания сочинений Аспазии изданы в 1920—1924, в 1931—1940 и 1985—1988 годах.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевела Нонна СЛЕПАКОВА

### ВАКХАНАЛИЯ

Венком увенчайся!  
Пусть радость царит!  
Вся жизнь — пустячок:  
Промелькнет, прогорит!

Взревела музыка.  
Запели смычки,  
И струны загудели,  
Как голубки!

И, словно гонимая  
Ветром листва,  
Мы в танце кружимся —  
Плывет голова!

Вот кубок! Багряный  
Напиток цеди,  
Как жаркую кровь  
Из пробитой груди!

Пусть вихрь наслаждений,  
Взметнувшись, забьет,  
Как пенистый, белый,  
Шальной водомет!

Сейчас наслаждайся!  
Не думай о том,  
Что пеплом ты станешь:  
Ведь это — потом!

Всё сгинет, покинет:  
Вся жизнь — пустячок . . .  
Пусть радость по жилам  
Огнем протечет!

Венком увенчайся!  
Пойми — все равно,  
Живешь ты еще  
Или отжил давно!

Отдайся, смеяся,  
Ни о чем не скорбя,  
Потоку, что в бездну  
Уносит тебя!

## ШАЛЬНАЯ ДЕВЧОНКА

Что мне, девчонке взбалмошной!  
Папа меня воспитывал —  
Розги зазря обламывал!

У меня ведь, знаете, — разные глаза:

В одном смешинка прыгает, в другом блестит слеза!

Слушая речи мамыны:  
«Честною будь и доброю», —  
Я напевала: «Вот еще!»

Что мне, девчонке взбалмошной!  
Сотню мальчишек мучаю —  
Всех проведу и высмею!

Я найду для каждого в сердце уголок,

Лишь сердцевинку сердца приберегаю впрок!

Что в сердцевинке, спросите?  
Нет сердцевинки, — поняли?!

Вот еще! Вот еще!

Что мне, девчонке взбалмошной!  
Но если б мальчик тихонький,  
Кроткий ягненок, чистенький —

С белоснежным галстучком и воротничком,

С белоснежною душой под черным пиджачком —

Если б такой влюбился бы,

Я уж тогда, наверное . . .

Знаете, что бы сделала?

Я ему — изменила бы!

Вот еще! Вот еще!

Что мне, девчонке взбалмошной!

Вы меня не исправите,

Лучше уж и не пробуйте!

Я — по рощам, по канавам, по сырой траве,

Волосы распатланы, ветер в голове!

Может, поймает кто-нибудь?

Нет, чепуха! Не верится!

Мчусь я, девчонка шалая,

Сокол лесной — душа моя!

Вот еще! Вот еще!

## ТОЛЬКО И БЫЛО!

Только и были — один этот день —  
Солнце, и счастье, и сирень!

Вечер был бел — утро чернó!  
Как одеяло, мгла  
Застила синих небес окно.  
Ноша вновь тяжела.

Копоть свет загрязнила.  
Буря свирепо завывала к ночи.  
Зима Весну поразила  
Клинком ледяным — в голубые очи!

## КАЖДОЙ ВЕСНОЮ

Ты каждой весною, каждой весною  
Не видишь ли новых чудес?  
Скажи мне!

Не стала ли роза гораздо алее?  
Не хочешь ли с нею цвести?  
Скажи мне!

Не стало ли облако легче, воздушней?  
Не хочешь ли с ним улечь?  
Скажи мне!

Но каждой весною, каждой весною  
У терний все больше шипов;  
И зубы у змей все острее и злей;  
И разве ты в бой не пойдешь?  
Скажи мне!

## СТРАШНЫЙ СУД

Мотто: «Dies irae, dies illa,  
Solvat saeculum in favilla».

Я — пламя, язык пожара,  
Я — утро, заря, восход.  
До блеска мой серп наточен —  
И жатва настает.

Я — колокол неумолчный,  
Грозы набатный распев,  
И в тысячах отголосков  
Звучит мой правый гнев.

Пронзая черные тучи  
Подобно молнии, я  
Земле предстаю, — великий,  
Высокий судия.

И никнет людское племя  
Под гнетом моих шагов,  
И рушится мир отживший,  
Разъятый до основ.



И средь восторгов и стонов,  
Средь голых дымных камней  
Встает Великое Завтра —  
Эдем грядущих дней.

### Г Д Е!

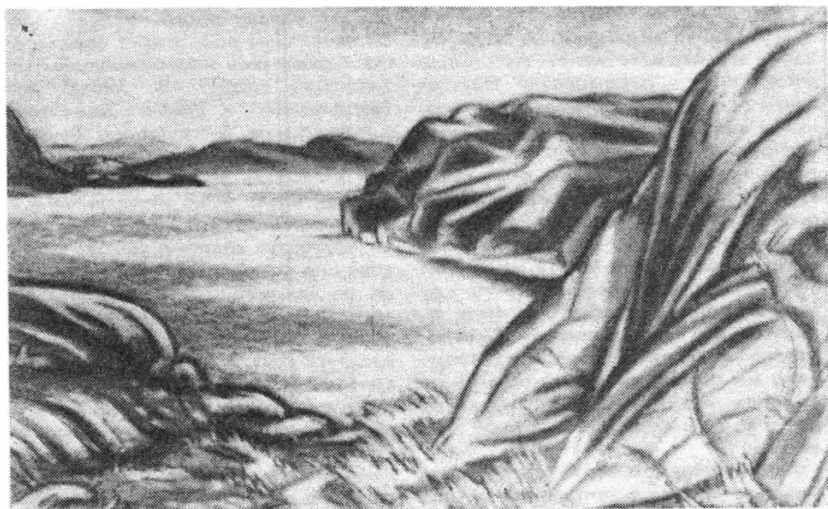
Не золотой середки  
Искать — но жить вполне!  
Добро и Зло по капельке  
Так ненавистны мне!

Но к чаше наслаждений  
Сквозь пьяные цветы  
Я принимаю с трепетом  
Внезапной тошноты!

А на высотах жизни,  
В том снежном далеке —  
Молчу в оцепенении,  
В холодном столбняке!

Где чувств моих граница,  
Предел страстей моих —  
С приливами, с отливами,  
С изменчивостью их?

И дух, поправший нынче  
Все, что искал досель, —  
Где истинность, где подлинность,  
Где смысл его и цель?



Никлавс Струнке. Скалистый берег Западной Швеции

## ШОСТАКОВИЧ ОФИЦИАЛЬНЫЙ И ПОДЛИННЫЙ

### ВОСПОМИНАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ, НАБЛЮДЕНИЯ

#### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

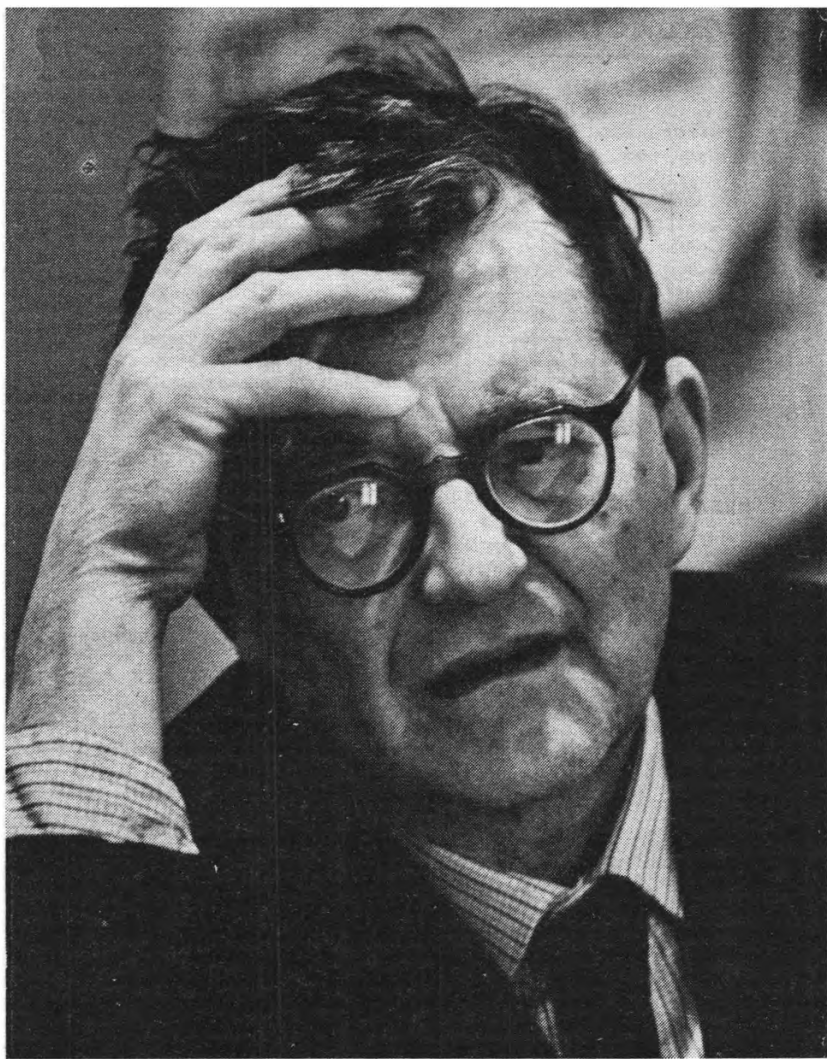
##### 1. НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Сегодня далеко не просто представить себе, чем была музыка Шостаковича для его сверстников, точнее говоря — для тех, кому эта музыка, уже начиная с середины двадцатых годов, открывалась синхронно с ее первыми исполнениями, с эволюцией автора и в ситуациях своего времени. Изменился жизненный контекст. Иным, как правило, стало восприятие. Появились иные слушательские критерии, требования, ожидания. Многое в представлениях о Шостаковиче деформировалось, охладилось потоками рассуждений в сферах науки, хрестоматийной популяризации, дидактики. А ведь была эта музыка источником сильнейших впечатлений и переживаний. Переживаний гораздо более многозначительных и животрепещущих, чем обычное восприятие искусства. Впечатлений столь захватывающих, что даже как-то язык не поворачивается рассуждать по поводу стиля, жанра, композиционной техники и т. п. Ибо здесь мы прежде всего ощущали наше время, нашу неслыханную адскую реальность, по кругам которой он, подобно Вергилию, водил нас, его современников. Вместе с Шостаковичем и благодаря его творениям мы познавали правду об этой реальности, и это было как струя кислорода в душающей атмосфере времени.

Каким-то чудом это оказалось возможным даже в ситуации тридцатых годов, в разгар всенародных бедствий предвоенного десятилетия. Ока-

залось в такой степени возможным, пожалуй, только в музыке, и прежде всего в той самой «бестекстовой» музыке, которую совсем не случайно громил А. Жданов в 1948 году. Оказалось возможным потому, что в музыке так называемая идеология написана отнюдь не аршинными буквами. Но, конечно, прежде всего потому, что это был Шостакович. Я не знаю другого русского художника, который мог бы в те же годы публично высказать нечто подобное. Были и в литературе голоса большой силы, но они, как правило, не доходили до нас. Многие были схвачены, уничтожены или существовали с кляпом во рту. Платонова, Ахматову, Булгакова во всем их размахе и значении мы узнали много позднее; время Солженицына еще только предстояло. Но и появление «новомировцев» шестидесятых годов, «За далью даль» Твардовского и «Ивана Денисовича» Солженицына, в сущности, было чудом!

Я несколько раз сказал «мы», и это действительно было впечатлением, переживанием многих людей. Вот реплики некоторых современников: «Шостакович не стремится к равновесию эпоса, он неизменно вовлекает нас в катастрофы современного бытия» (М. В. Юдина), «Эта музыка потрясает вас, поражает, побеждая вдруг единым словом, произнесенным шепотом, она погружает вас в мечты (. . .) Яростный гул, прерываемый чарующим голосом. Громовые раскаты, прерываемые плясками мертвых и песнями живых. Отдых на краю вулкана, нежные слова под грохот танков, мечты о будущем среди летающих вокруг снарядов» (Жан



**Дмитрий Шостакович.**

**Фото В. Ахломова**

Ришар Блок); «Мне всегда кажется, что он говорит то, что сказал бы я, и именно так, как это я сказал бы, будь я наделен чудесным даром музыкальной речи» (А. Г. Габричевский)<sup>1</sup>.

В литературе о Шостаковиче многое существенное уже сказано. Многие, однако, полускрыто, закамуфлировано или просто искажено. Причина тому — долгие годы цензурных ограничений. Эти ограничения уже давно стали не только внешними, но и внутренними, то есть привычкой к жесткому саморедактированию. Привычка ввелась в сознание, в той или иной степени отразилась даже в лучших работах о Шостаковиче. Не избежал ее и сам композитор — в комментариях к своим произведениям, в многочисленных официальных высказываниях, которые, увы, уже легли в основу многих книг, учебников, диссертаций, юбилейных статей.

По-видимому, еще только наступает время, когда можно и должно будет сказать о Шостаковиче публично всю правду. Я имею в виду прежде всего правду о художнике, который в чуждое время нашей истории с неведомой до той силой и полнотой сказал о русской трагедии XX века; который, сказав о страшной беде, бросил вызов тирании, дал нам понять, что такое подлинное сопротивление и где, на каких высотах вибрирует луч настоящей человечности.

Об этом подвиге Шостаковича давно могли сказать на Западе. Ведь в странах, свободных от фашизма, не было ни идеологической жандармерии, ни запретов. Но не сказали! Хотя знали Шостаковича, нередко хвалили его за талант, порою жалели. А о самом главном молчали<sup>2</sup>. И на то были свои причины. Самые знаменитые и самые влиятельные гуманитарии Западной Европы с превеликой охотой верили в сказки о сталинском социализме; пре-

краснодушие старых либералов было беззащитным перед лицом изощренного вранья нашей пропаганды. Главное в Шостаковиче просто не доходило до их сознания. И если на Седьмую симфонию откликнулся весь цивилизованный мир, то только потому, что это была эмблема антигитлеризма. О более широких проблемах всех зрелых симфоний Шостаковича можно было на время забыть; так было удобнее, легче, ибо единодушие Запада — Востока освобождало от каких-либо противоречий и оговорок. Но проблемы существовали, хоть и загнанные вглубь ситуацией войны. Все чувствовали их в музыке Шостаковича, и уже начиная с Восьмой симфонии у нас в руководящих кабинетах они вызвали раздражение, все более нараставшее. С полной силой это раздражение дало о себе знать в постановлении 1948 года.

Плохо понимали Шостаковича и западные музыканты. По мнению Шенберга, это большой талант, но «он позволил политике слишком сильно повлиять на свой композиторский стиль»<sup>3</sup>. Созревание стиля Шостаковича было воспринято как отказ от новаторства и уход в традиционализм. Вот мнение Стравинского: «Дмитрий Шостакович — молодой талантливый композитор. Я знаком с некоторыми его хорошими произведениями, но в «Леде Макбет» отвратительное либретто, музыкальный дух этого произведения направлен в прошлое, а музыка идет от Мусоргского»<sup>4</sup>. Это сказано в середине тридцатых. Авангардисты послевоенных лет сказали бы об этом еще резче. Шостакович уже был за пределами их интересов. Его целью было «слово о жизни». Выразительность музыкальной речи, новизна приемов целиком подчинены были этой задаче — прорваться к людям, к покорно застывающим сердцам, к растерянному, подавленному сознанию. Для авангардного Запада послевоенных лет первоначально важным было создать «новый звуковой мир». В этом мире увлечены были звуко-математическими комбинациями, электроакустикой, изобретением машинных звуков, «микрполифонией», музыкальным пуантилизмом и еще многим другим, будто бы про-

<sup>1</sup> М. В. Юдина. М., 1978, с. 253; Д. Шостакович. М., 1967, с. 62, 64; «Сов. музыка», 1989, № 6, с. 89.

<sup>2</sup> В 1989 году французский журнал «Le Monde de la Musique» вынужден признать: «Нужно было выждать по крайней мере пару десятков лет после мировой войны, чтобы западный музыкальный мир хоть немного реабилитировал Шостаковича, осознал могущество его художественной личности» (Цит. по: «Сов. музыка», 1989, № 9, с. 54).

<sup>3</sup> Arnold Schoenberg. Briefe., Mainz., 1958, S. 231.

<sup>4</sup> И. Стравинский — публицист и собеседник. М., 1988, с. 125.

диктованным искусству ультрасовременной цивилизацией. Но я глубоко убежден: главным психологическим источником этого мнимого прогресса был послевоенный скептицизм. От жизни, искалеченной бедствиями войны, от трагедий, болей, нищеты, политической тирании, многих разочарований; от морального пафоса, которому, как уже казалось, грош цена, — от всего этого потянуло к интригующим забавам абсолютной новизны, к элитарным играм ума и своевольного вкуса.

Модный скептицизм, нравственная дезориентированность из года в год заваливали мусором ту почву, на которой мог бы возникнуть интерес к одному из великих музыкантов века. В недавнее время и на Западе и у нас почва начала расчищаться. Начали живее и чаще вспоминать об очагах духовной культуры человечества и общих вечных ценностях. Начинают точнее распознавать тех мнимых пророков, кто понимал музыкальную современность то как бесплодную почву голого рационализма, то как клоунаду парадоксов и абсурдов, то как психотерапию в смутном царстве подсознательного, то как дикарские экстазы, беснование плоти в «ритмах и шумах современности».

Есть основание предполагать, что лучшее в отечественной музыке последних лет — пока еще немногое — на новом витке продолжает путь, проложенный Шостаковичем. Тем полнее хочется понять его наследие, без предубеждений и «поправок» представив себе его жизнь и судьбу. Предлагаемая статья — не более чем материалы для размышлений.

#### **«Только после моей смерти»**

На рубеже 70—80-х годов во многих странах мира и на разных языках появилась книга под названием «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича. Записаны и изданы Соломоном Волковым»<sup>5</sup>. Русскому читателю книга эта поныне остается почти неизвестной. И не случайно! Сразу же после издания книги на нее обрушился целый шквал брани. «Жалкая

поделка», «позорная стряпня», попытка «очернить нашу страну, советскую культуру» — вот только малая часть тех оплеух, которые нанесены были автору записей. Приняты были энергичнейшие меры для того, чтобы эта едва ли не единственная в жизни Шостаковича попытка рассказать о самом сокровенном, самом наиболее остром остром о пережитом им за многие десятилетия, — чтобы этот несомненно рискованный для него в те годы рассказ был безапелляционно отвергнут и напрочь вычеркнут из памяти.

Лет десять тому назад, читая вышеупомянутую «критику», я отнесся к ней как к явлению весьма привычному. И чему было удивляться! Ведь еще так недавно подобные ураганы лихой брани обрушивались на самого Шостаковича и его коллег, они валили с ног и многих его приверженцев, в том числе и меня самого — в качестве «адвоката формализма». Я не удивлялся этой «критике» особенно потому, что в середине 70-х С. Волков переселился в США, и филиппики по его адресу уснащались словами «отщепенец», «перебежчик» — словами, к которым в те годы уже не нужно было прибавлять никаких аргументов: осуждение и проклятие следовали автоматически.

И вот после долгих усилий книга С. Волкова, наконец, в моих руках. Первое, что бросается в глаза, — два главных первоисточника той злобной кампании, той энергии уничтожения, которые вызваны были этой необычной книгой. Источник первый — гнев, сарказм, боль в рассказах о тирании и ее жертвах, об аморализме сталинщины и ждановщины, о лицемерах и доносчиках, чьи происки вдоволь испытал и сам рассказчик. Источник второй — резко обличительные характеристики тех, кто непосредственно участвовал в травле композитора. Как могли эти последние не воспользоваться легкой в те годы возможностью политической диффамации книги. И я мысленно произносил именно то, о чем вскоре прочел в воспоминаниях Галины Вишневской: «Как торопится власть замести следы медленного убийства великого человека!»<sup>6</sup>. «Заметанием следов» и было оклеветание записей С. Волкова. Так же как и спешный выпуск в

<sup>5</sup> Zeugenaussage. Die Memorien des Dmitrij Schostakovitsch. Aufgezeichnet und herausgegeben von Solomon Volkov. Hamburg, 1979. В дальнейшем сокращенно: «Zeugenaussage». Цитирую в обратном переводе с немецкого.

<sup>6</sup> Галина Вишневская. Солженицын и Ростропович. «Юность», 1989, № 7, с. 82.

свет сборников, статей, грампластинок, рекламирующих официального Шостаковича.

Читаю книгу с волнением, не могу оторваться. Перечитываю, конспектирую, сопоставляю со своими собственными материалами — дневниками, письмами; со своей коллекцией газетных вырезок; сопоставляю с воспоминаниями друзей Шостаковича и, конечно же, со своими собственными воспоминаниями. И вот на каждом шагу вижу знакомую картину, знакомую, но сильно деформированную в хрестоматийных книгах о композиторе. Вижу то, что на протяжении почти 60 лет наблюдал вокруг него, в нем самом, что запоминал, порою записывал, когда выпадало мне счастье лично общаться с Дмитрием Дмитриевичем. Узнаю черты его психики, его уязвимость и его силу. Узнаю даже манеру его речи — короткие фразы, афористически меткие реплики, стрелы сарказма, целые пародийные сценки, которые он сам с таким блеском рассказывал в узком кругу и когда бывал «в ударе».

Текст записей, как, видимо, и сам рассказ, — клочковатый, эскизный. Темы повествования перебивают друг друга, перемешиваются, то всплывают, то тонут в длинных отступлениях. Это не планомерная летопись, скорее импровизация, часто возбужденная, движимая внезапно нахлынувшим воспоминанием и потому весьма неуравновешенная, акцентирующая именно то, что оставило в душе болезненный след. Вполне достоверное смешано в этом рассказе с тем, что сообщено кем-то другим, о чем «говорят» и что, разумеется, подлежит уточнению. Но ведь это не исследование, это не более чем живой рассказ. И разве не интересно для нас, о чем думал, что запомнил, о чем хотел рассказать Шостакович. А ведь сколько фактов (кстати, никем не опровергнутых)! Музыкальное детство, консерватория, поиски и увлечения, кризис начала 30-х годов, замыслы крупнейших произведений, начиная с «Леди Макбет». Но больше всего о людях, о творцах искусства, об учителях и близких современниках. Среди портретных зарисовок Шостаковича: Глазунов (обширнее всего), Кустодиев, Федор Сологуб, Мейерхольд (о нем очень много), Жилиев, Стравинский, Зощенко, Прокофьев, Скрябин, Мясковский, Соллертинский, Юдина, Тухачевский . . .

Во многих «портретах» и обобщениях нетрудно заметить субъективность, где-то в глубине застрявшую неудовлетворенность или личную обиду, или непреодолимую внутреннюю неконтактность с кем-то из современников. В общем тоне воспоминаний заметно отразились печально-итоговые настроения последних лет жизни композитора. «Критики» книги обвинили С. Волкова в искажении облика композитора: он, мол, был всегда таким вежливым, тактичным, доброжелательным. Таким он и был в действительности. Но существовали и другие хорошо воспитанные, в том числе и великие, которые все же нет-нет да и высказывали весьма странные и вполне субъективные суждения.

В странах мира существует и постоянно переиздается книга Н. Слонимского под названием «Lexicon of Musikal Invektive». В ней собраны резко критические отзывы о множестве композиторов — в том числе о Бетховене, Шопене, Берлиозе, Дебюсси, Малере, Прокофьеве, Штраусе, Стравинском и многих других. Никому, однако, в голову не приходило назвать публикации упомянутых и других высказываний фальшивками; такое могло произойти, пожалуй, только у нас, в недобрые времена, о которых мы теперь часто и с горечью вспоминаем.

. . . Год 1948, август. Шостакович сочиняет вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии». Перечитываю строки из своего дневника. «18 декабря. Генеральная репетиция «Еврейских песен» дома у Дмитрия Дмитриевича, в узком кругу. Исполнители — Слава Рихтер, Нина Дорлиак, Тамара Янко и тенор Белугин. Огромное впечатление — у слушателей и у исполнителей. Радостно возбужден и сам автор. Цикл исполняется дважды. Через два дня должна быть премьера, и мы все уже предвкушаем ее». Но не тут-то было! Начинаются глухие предостережения, немотивированные задержки, потом «сверху» предписан полный запрет. Премьера состоялась через семь лет (Ленинград, 15 января 1955 года), то есть когда главного Режиссера идеологических запретов уже не было в живых. Все объяснимо. Рубеж 40—50-х годов — взрыв сталинского антисемитизма. Разогнан и арестован Еврейский антифашистский комитет. Расстреляны еврейские поэты. По тайному

приказу убит Михозлс и уничтожено его детище — Московский государственный еврейский театр. Идет следствие по «делу врачей».

И вот год 1956-й, начало «оттепели». Еще свежи в памяти страхи недавних лет и, помню, на первых исполнениях «Еврейского» цикла Шостаковича люди многозначительно переглядывались, когда в финальной песне звучали слова: «Врачами, врачами будут наши сыновья». Однако же в журнале «Новое время» вижу обращенный от имени Шостаковича «Ответ американскому музыкальному критику». Тон ответа сердитый, высокомерно-назидательный. Мол, недопустимо уже само название американской статьи — «Шостакович заработал право на небольшую свободу». Разве, мол, вы не знаете, господин Таубман, что в СССР мы привыкли к большей свободе, чем в любой буржуазной стране, «к свободе от денежного мешка, от подкупа, от буржуазного издателя» и т. д. И да будет, мол, известно господину Таубману, что я внимательно прислушиваюсь к советам нашей общественности, «которые помогают мне в творческих исканиях»<sup>7</sup>. Нужны ли комментарии? Перед нами типичный пример той фальсификации, которую навязывала Шостаковичу официальная пропаганда (к технике подготовки «выступлений Шостаковича» я еще вернусь, так как были у меня в этой области и личные наблюдения). А ведь одним из главных аргументов против записей Волкова было их разительное несоответствие тому, что связывалось с именем Шостаковича в качестве престижно-официального лица.

Условия принудительности, в которых мы жили на протяжении десятилетий, вечные опасения выйти за рамки того, что «положено» — все это, разумеется, не оставалось психологически бесследным. И конечно же нелегкой для Шостаковича была задача, им же самим поставленная — рассказать о своей жизни откровенно, не приспосабливаясь ни к каким заданным извне стереотипам. Вот что пишет о процессе создания книги С. Волков. «Мы садились к столу (. . .). Я начинал ставить вопросы, на которые Шостакович сначала отвечал колеблясь, почти неохотно. Нередко мне приходилось

один и тот же вопрос повторять, всякий раз в другой формулировке. Шостаковичу нужно было время, чтобы войти в колею, разгореться. Постепенно его бледное лицо обретало краску. Он оживлялся. Я продолжал свои вопросы и делал при этом заметки в той сокращенной форме, которую практиковал в своей журнальной деятельности. Мысль о записи на магнитную пленку мы отбросили по ряду причин. Главная заключалась в том, что перед микрофоном Шостакович становился натянутым, одеревенелым, он замирал, как кролик перед змеей, — рефлекс, вызванный его «упражнениями по обязанности», его официальными выступлениями по радио (. . .). Для нас обоих было ясно, что готовая книга не может быть издана в Советском Союзе. Несколько пробных попыток в этом направлении кончились неудачей. Поэтому я принимал меры, чтобы значение рукописи понял на Западе. Шостакович был с этим согласен и лишь высказывал настоятельную просьбу: публикация только после его смерти.

«После моей смерти, после моей смерти», — повторял он снова и снова. В ноябре 1974 года он позвал меня к себе. Мы беседовали, потом он спросил меня о рукописи, и я ответил: «Она на Западе, и наша договоренность остается в силе». Шостакович сказал: «Хорошо» (. . .). В конце нашей беседы он подарил мне фотографию с надписью: «Дорогому Соломону Моисеевичу Волкову на добрую память. Д. Шостакович, 16.11.1974»<sup>8</sup>.

Автор записей не нарушил своего обещания: «Свидетельство вышло в свет через четыре года после смерти композитора. Но судьбе, так часто игравшей с Шостаковичем недобрые игры, захотелось большего — чтобы на родине композитора никто и никогда не прикоснулся к этой публикации. Старый, хорошо знакомый способ насильственной унификации: а вдруг, прочитав, взглянут «не туда» и подумают «не то!»

О работе С. Волкова можно спорить, кое-что в ней необходимо критически проанализировать и проверить. Но я убежден — ни один серьезный исследователь творчества Шостаковича,

<sup>7</sup> «Новое время», 1956, № 6, с. 29.

<sup>8</sup> Zeugenaussage, S. 12—13.

событий его жизни и его времени не пройдет мимо этого источника.

## 2. ЛИЦЕМЕРЫ И МАНИПУЛЯТОРЫ

В отношении так называемых директивных инстанций к Шостаковичу долгое время чередовались два побудительных мотива — и противоположных, и взаимосвязанных. Первый — раздражение против духовной независимости художника, недостаточной подконтрольности его творчества, от которого исходят «не те» влияния и которое формирует свою среду. Опасно и недопустимо! Второй побудительный мотив — полезность Шостаковича для престижа советской культуры, для международных связей, для разного рода дезинформирующих заявлений и контрпропагандных наскоков. По свойствам своей натуры Шостакович был столь же непреклонен в том главном, что составляло смысл его лучших произведений, сколь беззащитным и сговорчивым, когда из него вытягивали какое-нибудь пропагандное заявление.

В прямой зависимости от этих директивных мотивов протекала почти вся творческая жизнь Шостаковича: лихорадочная смена оценок, взлеты официального признания и сразу же косые взгляды, секретные указания, бесцеремонные оскорбления, потом снова лесть, высокие слова, и опять все сначала. Вот бегло зафиксированная кривая этих перемен, в которых могучее воздействие самой музыки нередко противостояло давлению «сверху».

Первая половина тридцатых — огромный успех первых спектаклей «Леди Макбет» в Ленинграде и в Москве, поток хвалебных рецензий. 28 января 1936 года — печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки» («Правда», статья без подписи, и по этой причине воспринятая как редакционная, то есть директивная; согласно распространенной тогда версии, которую высказывал и сам Шостакович, автором статьи был журналист Д. Заславский, соавтором и вдохновителем — Сталин). Вслед за публикацией в «Правде» — поток уничтожающих статей и обзуджений во многих городах страны. Сложившаяся ситуация определила судьбу законченной в том же 1936 году Четвертой симфонии. Ее уже репетировал ленинградский оркестр под управлением

Ф. Штидри. Но по воспоминаниям одного из друзей композитора, атмосфера во время репетиций была тревожной. «Дело в том, что в музыкальных и главным образом в околomuзыкальных кругах распространялись слухи о том, что Шостакович не вынял критике, написал дьявольски сложную симфонию, напичканную формализмом. И вот в один прекрасный день на репетицию явились секретарь Союза композиторов В. Е. Ихельсон и еще одно начальственное лицо из Смольного, после чего директор филармонии И. М. Рензин попросил Дмитрия Дмитриевича пожаловать в директорский кабинет. По пути домой Шостакович долго молчал, «но в конце концов он ровным, почти без интонации голосом сказал, что симфония исполняться не будет, что она снята по настоятельной рекомендации Рензина»<sup>1</sup>.

Премьера Четвертой состоялась спустя четверть века (1961, Москва, дирижер К. Кондрашин).

1937 — Пятая симфония. Опять, несмотря ни на что, огромный успех у слушателей, восторженные отклики в печати, волна общественного признания.

1941 — Седьмая симфония. Еще более высокая волна признания, на этот раз уже всемирного. 1943 — Восьмая симфония. Яркость впечатлений продолжает нарастать, но ко дню премьеры (Москва, Большой зал консерватории, дирижер Е. Мравинский) из начальственных кабинетов напыляет ядовитый туман подозрительности. Задерживаются первые газетные отклики, откладываются повторные исполнения. Вот несколько строчек из моего дневника: «4 ноября 1943. Премьера Восьмой Шостаковича. Из Большого зала сразу же поехал в редакцию «Комсомольской правды». Мою рецензию придирчиво и опасно правили, перепечатывали, отправили в набор. В то же время главный редактор созванивался с какой-то высокой инстанцией и, странным образом, ждал особого разрешения на публикацию моей статьи, а это разрешение где-то и совершенно секретно еще только созревало. Почему требовалось такое

<sup>1</sup> Исаак Гликман. «... Я все равно буду писать музыку». — «Сов. музыка», 1989, № 9, с. 47.



соизволение? Ведь после исполнения Седьмой патриотическая слава Шостаковича дошла до неслыханной широты. И ведь еще в сентябре в центральных газетах появились первые информации и благожелательные отзывы о Восьмой. Часы показывали 12, потом час и два ночи, ответа все не было. По настроению редактора я понял, что возникло серьезное препятствие. Кто-то наверху возмущился. В третьем часу ночи я отправился домой. Это было совсем не просто: транспорта не было, а еще по-военному действовал комендантский час. Шел долго и, несмотря на напряженное всматривание и вслушивание — не идет ли патруль, размышлял. Странно, необъяснимо? Нет, в сущности не так уж странно. На фронте уже совершился поворот к победе. Голос Левитана в сообщениях «От Советского информбюро» становился все более могущественным и уверенным (мне часто казалось — это голос Вождя и Учителя, каким его самого судьба не наградила). В газетах преобладали фанфары, в вечернем небе вспыхивали все более нарядные фонтаны салютных огней. А в Восьмой симфонии было совсем другое. О боже, кто же осмелится заподозрить, что Шостакович не радовался победе над Гитлером! И все же в Восьмой была не эта, салютно-фанфарная реальность... Утром я не нашел в «Комсомолке» своей рецензии». Дополню эту старую запись материалами чуть более позднего времени. Идя навстречу Жданову, один из композиторов говорил о Восьмой: «Ее пороком является чрезвычайная односторонность, как следствие односторонности восприятия мира, односторонности, заставляющей художника до крайности преувеличивать темные стороны действительности. Это создает впечатление крайней запуганности композитора, отсутствия великого оптимизма народа»<sup>10</sup>. Другой высказывался еще похлеще: говорилось об «ослепленности художника», о его «отрыве от окружающей действительности». Симптоматичны были следующие слова: «Довольно симфоний-дневников, псевдофилософствующих симфоний, скрывающих за внешним глубокомысленным

скупное интеллигентское самокопание»<sup>11</sup>.

Но вернусь к своему беглому обзору. 1945 — Девятая симфония. Понимание в довольно узкой среде; на самом верху сильное недовольство: «не того мы ждали после победы». Но реакция критики пока осторожная, рецензенты, поднаторевшие в лавировании, стремятся и начальству угодить, и не слишком, однако, скандализировать композитора, а также и самих себя; еще сдерживал огромный успех и престиж Седьмой. Быть может, композитор ощущал свою миниатюрную, камерную Девятую как некую разрядку после таких «трудных» концепций, как Седьмая и Восьмая. Но не его стихией была беспечность, бездумность, «просто веселость». Лев Толстой писал когда-то о «вечной тревоге» — состоянии, из которого не должен смочь думать выйти хотя на секунду ни один человек». «Мне смешно вспоминать, — писал Толстой, — как я думывал (...), что можно устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку (...). Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость»<sup>12</sup>. Строки эти хорошо комментируют историю создания Девятой. После тщетных попыток создать нечто торжественное появилась «веселая» симфоническая партитура, но в ней «путалась» и «билась», искала выхода та самая «вечная тревога», о которой писал Толстой. Да еще как пробивалась! То в острейшем сарказме, то в моментах скорби, то в лирике, чистота и скромность которой будто бросала вызов всему, что ее подавляло и искажало<sup>13</sup>.

\* \* \*

И вот грянул с неба большой гром. Год 1948, 10 февраля. Постановление

<sup>10</sup> Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948, с. 97 (речь В. Белого).

<sup>11</sup> Первый Всесоюзный съезд советских композиторов. Стенографический отчет. М., 1948, с. 40, 43 (речь Т. Хренникова).

<sup>12</sup> Л. Н. Толстой. Собрание сочинений. М., 1948, т. 12. с. 237—238.

<sup>13</sup> К истории создания Девятой симфонии я еще вернусь. — Д. Ж.

ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Об этом уже много написано, напомню лишь о главном. Мурадели тут был совсем ни при чем. Его посредственная, стилистически безличная опера не могла дать никакого повода для сокрушения «формализма». Ни при чем был также и Арам Хачатурян — ярко талантливый, но никогда не тревоживший начальства какой-либо идеологической ересью, во всех отношениях благополучнейший из благополучнейших. Всем было вполне ясно, что центральной фигурой постановления был Шостакович; подозрительность разве лишь могла относиться к Прокофьеву, хоть и хвалили его щедро и за «Ромео и Джульетту» и за «Войну и мир». Черный список постановления был прежде всего тактическим маневром, довольно обычным в тогдашних директивных документах. Здесь, как и всегда, главный прицел надлежало закамуфлировать, устронить так, чтобы не слишком бросалась в глаза (особенно в странах западного мира) расправа с самыми достойными и прославленными. Вместе с тем список, и особенно тот факт, что в название постановления было вынесено имя Ваню Мурадели, свидетельствовал о дремучем невежестве составителей документа, об их полной неосведомленности в том, что касается музыкальной жизни страны<sup>14</sup>. Постановление и то, что за ним последовало, явилось, пожалуй, самой высокой

<sup>14</sup> Но Мурадели не повезло (или, наоборот, очень повезло, ибо постановление принесло ему всенародную популярность, о которой он даже и не смел мечтать) по причинам особым. Его опера не понравилась Сталину. Во-первых, либретто расходилось со сталинским пониманием внутрикавказских политических распрей. Во-вторых... но об этом лучше скажу словами Шостаковича: «Но хуже всего дело обстояло с лезгинкой. Опера изображала жизнь на Кавказе и поэтому была до отказа наполнена народными песнями и танцами. Сталин, естественно, ожидал услышать знакомые ему звучания родных мест. Вместо этого он услышал лезгинку, сочиненную самим Мурадели в припадке некоего самозабвения. Именно эта лезгинка и повергла Сталина в гнев». «Мурадели выступил на многочисленных предприятиях, организациях. Он обращался к людям и сообщал им о своей вине: я был тем-то и тем-то, формалистом, космополитом, написал ошибочную лезгинку. Однако партия вовремя указала мне правильный

волной в потоке унижений и оскорблений композитора. Кое-кто, усердно угождая начальству, стремился бросить тень даже на самые признанные сочинения композитора. Говорилось, например, что если бы в жизни дело происходило так, как это мы видим в Седьмой симфонии, то война окончилась бы нашим поражением<sup>15</sup>. Особенно решительно высказывался В. Захаров. «У нас, говорил он, еще идут споры о том, хороша ли 8-я симфония Шостаковича или плоха. Я считаю что с точки зрения народа — это вообще не музыкальное произведение»<sup>16</sup>. Тот же Захаров, говоря о неприменных требованиях к тем, кто достоин быть членом Союза композиторов, заявил: «Теперь нам необходимо как можно быстрее освободиться от сложившихся, привычных, вредных, порочных представлений о наших, так называемых, «гениальных» или даже «сверхгениальных» светочах советского музыкального творчества. Нужно решительно пересмотреть и переоценить **все творчество** (подчеркнуто мною. — Д. Ж.) этих композиторов с наших теперешних позиций»<sup>17</sup>.

Шостакович усердно каялся и благодарил за руководящие указания. Но под непосредственным впечатлением от Совещания деятелей советской музыки в ЦК КПСС начал сочинять «Антиформалистический раек». Это была блестящая пародия на «антиформалистическую» кампанию 1948 года. Как справедливо говорит исследователь рукописи «Райка» М. Якубов, в вымышленных именах действующих лиц — Единицына и Двойкина — легко угадываются прототипы: Сталин и Жданов. Позднее композитор прибавил также и Тройкина, олицетворявшего фигуру Шепилова.

А вот что вспоминал композитор о событиях 1948 года: «Барабанной

путь. И я, бывший формалист и космополит, вступил на светлый путь прогрессивного реалистического творчества. Я твердо решил сочинять в будущем только такие лезгинки, которые достойны нашей великой эпохи» (Zeugenaussage, S. 164).

<sup>15</sup> Первый всесоюзный съезд... Цит. изд., с. 304.

<sup>16</sup> Совещание деятелей... Цит. изд., с. 20.

<sup>17</sup> Первый всесоюзный съезд... Цит. изд., с. 359.

дробью собрали композиторов, и они начали друг другу задавать жару. Прискорбное зрелище. Я охотнее всего хотел бы забыть об этом. Конечно, меня едва ли что-либо может повергнуть в удивление, и все-таки вспоминать об этом омерзительно. Сталин вручил Жданову список главных преступников. Жданов выступил как опытный палач. Он натравливал одного композитора на другого». И далее: «Собрания, заседания следовали одно за другим. Вся страна была как в лихорадке. О композиторах нечего и говорить, это было как прорыв плотины. Поток мутной грязной воды хлынул по всей стране. Точно какой-то дьявол взбесил всех, и каждый высказывался о музыке. (...) Газеты публиковали счастливые письма трудящихся. В прекрасном единодушии рабочие благодарили партию за то, что она освободила их от мучительного выслушивания симфоний Шостаковича. Репертуарный комитет в соответствии с пожеланиями трудящихся опубликовал черный список сочинений, которые не должны более исполняться. Он содержал среди прочих и мои симфонии»<sup>18</sup>.

Новая волна ругани и дискриминации отнюдь не помешала вскоре же и без всяких церемоний организовать еще одну волну признания и прославления. Все шло в полнейшем согласии с мудрыми советами Никколо Макиавелли: правитель не должен связывать себя никакими обещаниями, никакими решениями или мнениями; сила и перспективность власти в значительной мере держится на том, что народ с удивительной легкостью забывает сказанное вчера и очень быстро адаптируется к сказанному сегодня.

Год 1949. Звонок В. Молотова — настоятельная просьба поехать в США на Конгресс в защиту мира. Шостакович решительно отказывается. Вот его позднейший комментарий. «Дело хорошее. Каждый человек знает: мир лучше, чем война. Бороться за мир — благородное дело. Но я отказался. Ведь я же был формалистом. Представителем враждебного народу направления в музыке. Моя музыка была под запретом. И вот я должен ехать и поступать так, будто все обстоит прекрасно?»<sup>19</sup>.

Но далее последовал звонок Сталина. Воспроизведу этот разговор по рассказу Нины Васильевны Шостакович (она не отрывалась от второй телефонной трубки), а также со слов самого Дмитрия Дмитриевича, записанных С. Волковым.

— Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Говорит Сталин.

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Я вас слушаю.

— Хотелось бы прежде всего узнать, как вы себя чувствуете? Как здоровье?

— Спасибо, спасибо! Чувствую себя хорошо, хорошо.

— У нас есть просьба к вам.

— Рад буду выполнить, если будет мне по силам.

— Думаю, конечно, будет по силам. Речь идет о поездке в США. Почему не хотите поехать? Какие у вас есть трудности?

— Да, я не могу поехать. Есть трудности. Дело в том, что музыка моих коллег, а также моя музыка у нас не исполняется. Меня стали бы спрашивать — по каким причинам? Что я должен отвечать?

— Что значит не исполняется? Почему не исполняется? По какой причине?

— Есть ведь Репертуарный комитет, и существует запретительный список.

— Кто позволил дать это указание?

— Вероятно, кто-нибудь из руководящих товарищей.

— Нет, подобного распоряжения мы не давали. Репертуарный комитет поторопился, проявил ошибочную инициативу. Мы займемся этим делом. Думаю, товарищи учтут мое мнение. Дело поправимое, товарищ Шостакович.

— Спасибо, спасибо, Иосиф Виссарионович.

— А как же все-таки у вас со здоровьем?

— В самолете мне становится плохо. Тошнит.

— По какой причине? Почему становится плохо? Как это так? Мы пришлем вам врача. Он должен установить, почему вам становится плохо.

— Спасибо, спасибо, Иосиф Виссарионович!

— Пожелаю успехов и доброго здоровья. Если нужно будет, звоните мне. Вероятно, эта запись конфиденциальна, лишена нюансов. Судя по воспоминаниям Дмитрия Дмитриевича, реплики Сталина были хоть и вежливыми, но

<sup>18</sup> Zeugenaussage, S. 166—167.

<sup>19</sup> Zeugenaussage, S. 167—168

неотвязно придиричивыми, настойчивыми. Нажим оказался непреодолимым. 25—28 марта Шостакович участвует в Нью-Йоркском конгрессе. Его речь публикуется в центральных советских газетах. И в этой речи главный представитель «чуждого народу направления» говорит: «Мы называем формализмом искусство, лишенное любви к народу, антидемократическое, увлекающее только формой, отрицающее содержание, искусство, порожденное патологически нарушенным, пессимистичным восприятием действительности, неверием в силы и идеалы человека. Это мировоззрение реакционно-нигилистическое...»<sup>21</sup>. В Америке был и счастливый вечер, когда для тридцати тысяч слушателей Шостакович играл свое фортепианное переложение скерцо из Пятой симфонии. Однако: «Я отвечал на глупые вопросы и все время думал — как бы не сказать что-нибудь лишнее»<sup>22</sup>.

В послевоенные годы официальная жизнь Шостаковича необычайно интенсивна. Речи, статьи, интервью, пресс-конференции, пленумы ССК, конгрессы, жюри конкурсов и еще многое в таком же роде. Те, кто любит Дмитрия Дмитриевича, таяко вздыхают: ведь то, на что он растрачивает себя, могут многие, но кое-что поважнее может только он один. Мариетта Шагинян пишет ему: «С чем я не согласна в этой Вашей теперешней деятельности и считаю ее вредной для Вас (можете меня бить!) — так эта Ваша необыкновенная активность в руководящей роли в Союзе композиторов, выступления и «внедрение в жизнь» (в кавычках) и даже советы молодежи, как внедряться»<sup>22</sup>. Но индугенция на гражданскую благонадежность по-прежнему висит на волоске. И вот уже начальство на многих этажах волнуется, с ног

сбивается, как бы не погореть на симфонии Тринадцатой. Здесь к тому же участвует и второй рецидивист — Евгений Евтушенко, автор текстов. Зачем «Бабий Яр»? Чтобы лишний раз разжигать «еврейский вопрос»? Тем более что, как напоминает «Литературка», убивали ведь и русских и украинцев. Нельзя ли обойтись без первой части, предлагает министр культуры РСФСР? Да и ни к чему «Карьера»! В кого они, собственно, метят? Не в руководящие ли кадры? И зачем на весь мир позорить наши магазины («зябну долго, в кассу стоя», «пахнет луком, огурцами, пахнет соусом «Кабуль»). «Умирают в России страхи», — писал Евтушенко. Но страхами охвачены и исполнители Тринадцатой. Отказывается дирижировать старый друг композитора Евгений Мравинский. (На премьерере дирижировал К. Кондрашин, Москва, 1962.) По совету партийного начальства отказался петь солист Б. Гмыря; в последний момент уклонился от участия в премьерере также В. Нечипайло.

Предпринято было пересочинение наиболее «криминальных» строк Тринадцатой<sup>23</sup>. М. Шагинян в то время писала композитору: «Я бы на Вашем месте отреагировала на это не так, как Вы, но я ведь прирожденный боец... Как это покажется странным нашим далеким потомкам и как не смогут они связать это с Вашим образом — гения музыки XX столетия!»<sup>24</sup>

Да, многое покажется странным далеким потомкам Шостаковича! И не только далеким — ныне живущим. Более чем странными покажутся слова, увенчавшие его страдальный путь: государственная важность, непререкаемость и вместе с тем беззащитное лицемерие.

Кто такой Шостакович? «Верный сын Коммунистической партии, видный общественный и государственный деятель, художник-гражданин», «всю свою жизнь и художественную деятельность посвятил развитию советской музыки, утверждению идеалов социалистического гуманизма и интернационализ-

<sup>21</sup> Цит. по сборнику: Д. Шостакович о времени и о себе. М., 1980, с. 136. Был однажды случай почти анекдотический. На госэкзамене в Московской консерватории (1959) студентка, сидевшая прямо напротив председателя экзаменационной комиссии Шостаковича, рассказывала о том, как в 1948 году искоренили музыкальный формализм, потом (1958) «исправляли» искоренение. Студентка маялась от неловкости. Шостакович был безупречно серьезен, но моментами кончики его губ реагировали на комизм ситуации.

<sup>22</sup> Zeugenaussage, S. 162.

<sup>23</sup> Цит. по: «Сов. Россия», 1968, 2 апреля.

<sup>24</sup> О подготовке премьеры Тринадцатой симфонии см.: К. Кондрашин. Рядом с Шостаковичем. «Музыкальная жизнь», 1989, № 17.

<sup>25</sup> Цит. по: «Советская Россия», см. примечание 14.

ма, борьбе за мир и дружбу народов». Это из некролога; в числе подписавших его Брежнев, Сулов, Щербицкий, Гришин, Рашидов, Романов. Но также все-все, знавшие о судьбе почившего: Кабалевский, Караев, Кондрашин, Мравинский, Орджоникидзе, Свиридов, Хачатурян, Хренников, Эшпай. Каково место Шостаковича в истории музыки? Вдруг выясняется, что он вместе с Сергеем Прокофьевым «определил магистральные пути современного искусства» и для советских композиторов всегда был «образцом подлинно современного передового художника», что музыка Шостаковича — «всегда гимн человеку», что она помогает «лучше понять наше время». Это из надгробных речей.

Поистине есть над чем призадуматься потомку. Особенно если он не знает «правил игры», по которым жили в эпоху «реального социализма». И вот потомок недоумевает. Как же это так? «Определил магистральные пути», «был образцом передового художника». Почему же все, произосившие и слушавшие эти слова, не сгорели от стыда? Ведь они все знали, помнили; даже соучаствовали в совсем иных действиях, от которых ныне усопшему влору было в петлю лезть. Директивные документы гремели о том, что музыка Шостаковича написана «шиворот-навыворот», что композитор «перепутал все звучания», впал в «левацкое уродство» и «грубый натурализм». А спустя 12 лет (1948) в речи директивных лица вновь прозвучал тот же словесный набор. А еще 10 лет спустя (1958), в хрущевском постановлении, будто бы исправляющем предшествующие, официально подтверждалось, что это предшествующее (ждановское) «правильно определило направление развития советского искусства, содержало справедливую критику ошибочных тенденций».<sup>25</sup>

Так что нелегко будет распутать все это нашему потомку, если в его время возобладает жажда истины. Пусть же подумает он о том, что замышлял, делал, говорил Шостакович; когда не чувствовал себя во власти официальной доктрины, не находился под прямым или косвенным нажимом началь-

ства. Его истинный портрет — в его лучших произведениях. Не утеряны пока и следы откровенных высказываний композитора, хотя многое сделано было для их фальсификации. Вот несколько строк, правдивость которых не вызывает у меня ни малейших сомнений.

«Седьмая симфония стала, пожалуй, моим самым популярным произведением. Мне лишь обидно, что слушатели понимают ее не всегда правильно, хотя здесь ведь все вполне ясно. Анна Ахматова написала свой стихотворный цикл «Реквием». Седьмая и Восьмая — это мой «Реквием». (...) Свою седьмую, «Ленинградскую» симфонию я писал быстро. Я просто должен был ее писать. Вокруг шла война. Я был среди людей, я хотел передать в музыке картину нашей борющейся страны (...). О Седьмой и Восьмой я услышал больше глупостей, чем о других моих работах. Удивительно, сколь живучи такого рода глупости. Порою меня поражает, как люди умственно ленивы. Все, что об этих симфониях было написано в первые дни, повторяется без изменений до сих пор. Между тем было ведь достаточно времени для размышлений. Война давно закончена. Позади почти тридцать лет. (...) Седьмая симфония была задумана до войны. И, следовательно, она просто не может быть откликом на нападение Гитлера. «Тема нашествия» не имеет никакого отношения к нашествию фашистов. Сочиняя эту тему, я думал о совсем другом враге человечества. Конечно, я ненавижу фашизм. Однако не только немецкий, ненавижу всякий фашизм.

Ныне предвоенное время охотно изображают как идиллию. Все было, дескать, прекрасно и хорошо, пока не явился Гитлер. Гитлер был преступником, что не подлежит сомнению. Но преступником был также и Сталин. Я испытываю неутолимую скорбь за всех, кого погубил Гитлер. Но не меньшую боль причиняет мне мысль обо всех, кого убили по приказу Сталина. Я скорблю обо всех замученных, истерзанных пытками, расстрелянных, умерших от голода. Их были уже миллионы в нашей стране, прежде чем началась война против Гитлера. Война против Гитлера принесла бесконечно много новых страданий и разрушений. Но я не забыл и об ужасных предвоенных годах. Об этом свидетельствуют

<sup>25</sup> «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». — Постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года.

все мои симфонии, начиная с Четвертой. К ним принадлежат также Седьмая и Восьмая.

У меня нет никаких возражений против того, что Седьмую называют «Ленинградской» симфонией. Но в ней речь не идет о блокаде. Речь идет о Ленинграде, который Сталин приговорил к гибели. (. . .)

Большая часть моих симфоний — надгробные памятники. Слишком много наших соотечественников погибло в неизвестных местах. Никто не знает, где они похоронены, не знают даже их близкие. Где поставить памятник Мейерхольду? Где Тухачевскому? Можно сделать это в музыке. Я бы охотно написал пьесу для каждого погибшего. Но это неосуществимо. Поэтому я посвящаю им всю мою музыку»<sup>26</sup>.

То, что я цитирую из книги «Zeugenaussage» (Свидетельство), русскому читателю почти неизвестно, — это только конспект, пунктирный след того, о чем композитор думал, но что — по условиям времени — позволял себе произносить лишь довери-

тельно, да и то очень бегло. И что разрешил публиковать только после его смерти. А сколько еще таких следов не стерлось, пока еще живы его современники. И их можно было бы не утратить. Если бы только целые поколения нашего века не воспитаны были на догме, будто человек Великий — это не человек, а Монолит. Будто он только и делает, что внушает «правильные» мысли, прописные истины, ходячие добродетели (помню, как высмеивал Шостакович изображенного в одном фильме безупречно «правильного» Римского-Корсакова). Будто он не знает ни смутений, ни страхов, ни противоречий, ни терзающей раздвоенности. И будто священный долг почитателей Шостаковича во что бы то ни стало поддерживать версию об его безупречной официальной «правильности», что сам он делал отнюдь не по доброй воле. Прискорбная ошибка! Не она ли в свое время побудила убрать с пьедестала погруженного в тяжкие думы Гоголя и заменить его Гоголем «бодрым». Но, кажется, никому еще не удавалось предотвратить корректирующее вмешательство времени, умертвить голос истины и совести!

<sup>26</sup> Zeugenaussage, S. 157, 174—175.

## Виктор ФЕДОСЕЕВ

# БОГ, РЕЛИГИЯ, ЧЕЛОВЕК

- Вы — религиозны?
- Нет.
- А в Бога верите?
- Нет.
- Значит, атеист?
- О, нет!

Такой диалог способен кого угодно оставить в недоумении: с одной стороны, ваш собеседник признается, что ни в Бога, ни в церковь не верит, а с другой — отрицает, что атеист. И вы задумываетесь, не неоднозначно ли в разных частях света понимается

### АТЕИЗМ.

Вопрос как нельзя более уместный.

Если вы заглянете в толковые словари, советские и американские, то вы:

увидите, что [и тут и там] атеизм имеет три понятия — близких, но не адекватных: первое — безбожие; второе — не верие (что уже несколько сильнее) и третье — отрицание существования Бога (и того сильнее).

В Советском Союзе наиболее распространено, я бы сказал, последнее определение этого понятия — отрицание, предполагающее определенную активность. Однако советский человек не только охотно позволяет вовлекать себя в антирелигиозные кампании — этого не скрывают и советские идеологи, сетующие на «вялость атеистической активности» среди населения.

Итак, если под атеизмом понимать

антирелигиозную активность, то этого среди большей части населения СССР просто нет. Как нет зачастую и не верия, поскольку и это слово содержит негативный заряд. В принципе советский человек и к а к не относится к Богу, глядя на это примерно так, как мы сегодня смотрим на культ солнца или поклонников огня.

Так что ваш собеседник не противоречил себе, когда не согласился с тем, что он атеист. Религия для него — представления и домыслы людей озадаченных — что характерно для ранней стадии развития человеческой культуры. А вера в божество — реликт тех далеких времен, когда многие явления природы человек не в состоянии был объяснить ничем иным, как проявлением сверхъестественных сил или поведением неподконтрольных духов.

В религиозных отправлениях у себя в стране, особенно русской православной церкви, которую он имеет возможность наблюдать в повседневной практике, неверующий усматривает

### ПРИЗНАКИ ЯЗЫЧЕСТВА.

Он видит их в обожествлении живописных и скульптурных изображений, в окуривании храмов благовониями, в песнопении на ушедшем в прошлое церковнославянском, в гипнотизирующей монотонности повторений одних и тех же слов и целых фраз, напоминающих заклинания; в целовании икон, рук и одежды священнослужителя, в коленипреклонении перед образами, осенении себя и других крестом, в атрибутах фетишизма.

Обряд причащения отдает для него каннибализмом: он видит, как прихожанину предлагают ломтик мучной выпечки и глоток разбавленного водой вина, и слышит, как причитают при этом, будто тот ест и пьет «тело» и «кровь» господа Бога, а причащающийся не волен ни возразить, ни отказаться, поскольку он «раб» божий — так ему говорят во время причастия.

Советский человек любопытствует: он заглядывает в Новый завет и убеждается, что не ослышался — слово р а б встречается там по меньшей мере 120 раз. Ладно, он согласен, что для ранних христиан оно имело буквальный смысл, поскольку отражало реальную ситуацию того времени.

Но ему ясно и то, что ныне, когда так много сделано для человеческой

свободы, это слово ничего общего не имеет с действительностью. Тем менее уместно называть человека р а б о м, если нет стремления навязать ему рабское повиновение чьей-то воле...

... Предположим, подобные рассуждения вас не шокировали, отнеслись вы к ним терпимо, и разговор продолжается. Вы рассказываете об основах христианской веры, известных на Западе каждому.

И что ж... История о непорочном зачатии вызывает у вашего собеседника этакую «я-то-лучше-знаю» улыбку. А вера в «сына божьего — спасителя человечества», «матерь божью — царицу небесную» и в «духа святого» как бы подкашивает ему мысль (и он этого не скрывает, раз уж разговор откровенный), что

### МНОГОБОЖИЕ

живо и поныне.

Как-то в затянувшемся за полночь чаепитии мой увлекающийся собеседник сравнил христианство с политическим шумеров — народа давней цивилизации, процветавшей семь тысяч лет назад на северо-востоке Аравийского полуострова, на территории нынешнего Ирака. Это они, шумеры, придумали годовой календарь с месяцами и неделями, перешедший затем к вавилонянам — да и мы им пользуемся поныне. Они же разработали клинопись, также освоенную Вавилоном и близлежащими странами от Кавказа до Египта.

Помимо верховного бога Аншара был у шумеров и бог Эа — заступник людей, «спаситель всех»; была и «владычица небес» — богиня Иштар; был и главный дух ранга верховного бога — и его звали Ану, и ему были подчинены все добрые духи, вроде ангелов, шумеры их называли Иги.

Довод моего собеседника в пользу многобожия христианства был прост: если Бог один, то и молиться надо ему одному. А если мы возносим молитвы и воздвигаем храмы матери божьей Марии, божьему сыну Христу-спасителю, Иоанну-крестителю, апостолу Петру, Николаю-угоднику и сонму святых, то чем мы отличаемся от шумеров, воздвигавших храмы и возносивших молитвы богам Аншару, Эа, Ану, Иштар и множеству других подобных богов или возлюбленных ими?

Чем отличаемся мы, к примеру, от идолопоклонников Древней Греции,

сооружавших храмы «владыке мира» Зевсу, «царице неба» Гере, сыну бога и «посланнику небес» Гермесу и прочим обитателям Олимпа? Сходства много: статую Дианы Эфесской как бы заменили скульптурным изображением Марии; на смену богоподобным героям греческой мифологии, имевшимся на каждый случай жизни, пришла канонизация христианской церковью святых.

И собеседник ваш задается вопросом: не есть ли некоторые виды современного христианства продолжением ранних религиозных культур?

Если вы окажетесь

### В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ,

перед зданием Большого театра, поднимите голову: на портале, поддерживаемом восемью внушительными колоннами, вы увидите статую Аполлона с лирой в руках, едущего на колеснице, запряженной четверкой коней. Большой театр — центр балетного и оперного искусства в СССР, златокудрый бог Аполлон — покровитель искусств.

Божества древности советский человек встречает повсюду: в архитектурных украшениях, скульптуре, живописи, в поэзии и прозе, драматургии и театральных постановках. Во всем этом он видит не только произведения искусства, но и истоки, скорее даже

### ФУНДАМЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Доводы о том, что некоторые современные религии содержат элементы идолопоклонства и многобожия, не стоит воспринимать как выпад против религиозных верований. Ведь идет дискуссия, во время которой каждый раскрывает свое миропонимание.

Несомненно каждый из нас имеет право на собственные религиозные убеждения. В Соединенных Штатах это право закреплено законодательно, и мы следим за тем, чтобы оно соблюдалось.

А как быть с неверующим?

Готовы ли мы к тому, чтобы столь же беспрекословно защищать право человека не верить?

Как-то пятничным вечером

### В ИЕРУСАЛИМЕ

я шел себе по улице, размышляя. Меня остановили двое:

— Почему ты нарушаешь шабат и ку-

ришь? — обратился ко мне тот, что помоложе.

— Я обычно шабат не соблюдаю.

— А как насчет уважения прав верующих?

Я подумал: ведь я же не в их доме и вообще далек от религиозных кварталов. Я в городе, где есть религиозные и нерелигиозные, евреи и неевреи, городе, очень близком мне и обожаемом мною... и я спросил:

— А как насчет уважения прав неверующих?

По выражению лица старшего из них, менее настойчивого, можно было понять, что вопрос его озадачил. Ответа не последовало, и мы разошлись.

Правда, ни в этот, ни в другой шабат на улицах Иерусалима я больше не курил — не хотелось. Хотя убежден, что любое верование, будь то религиозное или политическое, возведенное в обязанность, есть насилие над человеческой волей и разумом.

Известно, что советские парни и девушки лишены широкого доступа к религиозной литературе. А потому и упрекать их в отсутствии религиозных знаний, столь доступных на Западе, не приходится.

Но и вряд ли уместно полагать, что любой ваш рассказ из области религии они воспримут как откровение. Их отношение к нему скорее напомнит

### ПРОСТОДУШИЕ РЕБЕНКА.

Такое присуще не только советским. Американский просветитель и революционер Томас Пейн рассказывает, как он в 7—8-летнем возрасте возмущился историей искупления человеческих грехов посредством смерти сына божьего: «Я подумал, что в этой истории всемогущего бога заставили действовать наподобие разгневанного человека, который убил своего сына, не будучи в состоянии отомстить за себя иначе».

Рассуждения дерзкие, что и говорить. Нечто подобное вы рискуете услышать от своего собеседника. Но пусть это вас не шокирует и не бросает в крайность.

Каждому из нас свойственно удивляться тому, о чем мы никогда не слышали, — удивляться и, как подсказывает опыт, проверять на зуб. Говорят, что с удивления начинается поэзия: человек что-то увидел, услышал, подумал и — удивился, как будто нашел что-то... запомнить бы, не за-



быть... он радуется находке, играет ею, наряжает в отборные слова или, напротив, обнажает... И вот — созрело! — готов поделиться — складывает фразы, мелодию... другой слушает, читает — и тоже удивляется. Значит, получились, передал — вот и счастлив.

В ребенке, естественно, сидит больше удивлений, чаще готовых вырваться. Да и мы, взрослые —

### ВЕЧНЫЕ ДЕТИ.

Детство наше проверяется свежестью восприятия, неутраченной способностью удивляться.

Рассуждения ребенка, как, впрочем, и мысли детей взрослых, не обязательно инфантильны. Рассуждения 7—8-летнего Томаса Пейна о том, как мог бог-отец послать своего сына на смерть, имели вполне разумную предпосылку: «бог слишком добр для подобной поступков и слишком всемогущ, чтобы быть вынужденным на них».

Пейн ничего не пишет о том, что если богу-отцу можно отправить сына на смерть, то человеку-отцу, должно быть, — подавно. Хотя не исключено, что подобная мысль могла прийти в голову впечатлительному мальчику, который рассуждает: «человека, совершившего такой поступок, повесили бы». И уже 56-летний Томас Пейн произносит вердикт: «Любая религия, содержащая в себе вещи, способные возмутить ум ребенка, не может быть истинной религией».

Религия — нередкая тема дискуссий советских людей. Не упускают случая порассуждать о ней и в Штатах. Помоему, это хорошо, так как позволяет легко войти в разговор, представляющий обоюдный интерес.

Бывает, однако (и это стоит учесть), что чем дальше человек от религии, тем менее расположен он к религиозным наставлениям. С меньшим терпением, на мой взгляд, относится к проповедям человек из атеистического окружения — они напоминают ему партийно-идеологические беседы.

Вообще, вера в Бога настолько личное дело, что сам вопрос

### «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В БОГА?»

можно позволить себе разве что в минуту действительно душевной беседы.

Другое дело — религиозность, обусловленная прежде всего признанием

священности писания: для христиан — учения Христа, изложенного в Новом завете; для иудеев — учения Моисея, содержащегося в первых пяти книгах Ветхого завета; для мусульман — учения Магомета, записанного в Коране; для других религий или религиозных течений — учения отцов их церкви. Религиозность — это также соблюдение определенных обрядов, участие в церковных отправлениях, почитание авторитета священнослужителей.

Ваш собеседник, даже далекий от коммунистических воззрений, знает, что в России церковь испокон века была повязана с властью: некоторые цари провозглашались ею святыми; с амвонов постоянно звучала

### ХВАЛА САМОДЕРЖЦАМ.

Традиция эта сохранилась поныне, хотя с падением монархии церковь понесла изрядный урон.

Я сам слышал, как в Москве еще при Брежнев в церкви Новодевичьего монастыря священник открывал вечернюю службу распевными словами хвалы советскому правительству. А в московской синагоге мой взгляд привлекли вывешенные для всеобщего обозрения две торжественно оформленные надписи — золотыми буквами на красном бархате на иврите и русском — хвала и благословение советскому правительству.

Ваш собеседник со школьной скамьи знает о том, что русская православная церковь нередко стояла даже

### ПРАВЕЕ ЦАРЕЙ —

как, например, в деле отмены крепостного права, когда она откровенно препятствовала освобождению подневольных.

Он укажет вам и на то, что в русской литературе и живописи на века запечатлены преследования православной церковью иноверцев, особенно старообрядцев, ее нетерпимость к протестантизму, который до сих пор именуется ею «сектантством».

Он расскажет вам и о том, что зачастую у народа и выбора-то не было, кроме как смиренно принимать церковь со всеми ее плюсами и минусами. А те одиночки, что отваживались открыто ее критиковать, — как, например, граф Лев Толстой, — предавались анафеме и изгонялись из церкви.

Упомянет ваш собеседник и русскую публицистику времен могущества пра-

вославной церкви, свидетельствующую о том, что в повседневной практике церкви «терпимость» и «равенство» были не самыми ходкими понятиями.

Но, разумеется, всё это легко можно оспорить, сославшись на то, что сказанное, написанное и изображенное против русской православной церкви — от недобрых помыслов или, что еще хуже, от лукавого — и забросать спорщика прославляющими церковь сказаниями, писаниями и изображениями.

Так где же правда? Богохульник ли россиянин или, напротив, богохульлив? Тысяча статей и книг сочинены в ответ на этот вопрос, нередко умных и убедительных.

Русский народ — самый религиозный в мире, утверждает Николай Васильевич Гоголь, большой писатель XIX века, несомненный знаток российской действительности, сатирик, разоблачитель чиновничества, реалист.

«Ложь!» — восклицает современник Гоголя Виссарион Белинский. В письме Гоголю он пишет (цитирую по московскому изданию «Избранных писем» Белинского, 1955, т. 2, стр. 327—328): «По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия...»

Подобно Томасу Пейну, Белинский был революционер-демократ, страстно верил в человеческий разум, нетерпимо относился к насилию, болезненно воспринимал крепостничество. Как и Томас Пейн, он был ненавистен угнетателям и церкви, монополизировавшей государственную религию. И если Томас Пейн, немало расковавший мышление американских колонистов, был как бы *mauvais enfant* среди отцов-основателей Соединенных Штатов, то Белинский, немало расковавший российскую крепостническую мысль, и поныне отвергается не только церковниками, славянофилами-антизападниками и монархистами, но даже коммунисты, почитающие в нем революционный дух, не упускают случая упрекнуть демократа в том, что он, признававший «важность просветительства», так

и «не смог понять историческую роль пролетариата».

Белинский, говоря об иконе, обращается к

## ПОСЛОВИЦЕ

«годится — молиться, не годится — горшки покрывать». Почему? Да потому, что, как говорится на Руси, «из одного дерева икона и лопата». Не больно уважительно к образу, на который положено молиться, но — такова народная мудрость, порожденная действительностью. Ведь (еще одна мудрость) «пословицу обжаловать нельзя».

Лет тридцать я собираю пословицы, поговорки, былины, притчи, сказки, загадки — и не только русские, всякие. Есть в моей библиотеке (если позволительно на минуту отвлечься от предмета религии) даже сборник сказок и мифов Океании — кладезь мудрости жителей островов Мазво, Аоба, Вануа-Лава, Янге, Мбеннга, Ротума, Палау (одни эти названия насыщены необычным экзотическим звучанием) и других мест Полинезии, Меланезии и Микронезии. А недавно я приобрел в мюнхенской книжной лавке американской армии — «Старс-энд-страйпс» — сборник пословиц южноазиатских народов, исполненных не только мудрости, но и великолепного юмора — вот, к примеру, одна: «Не стоит обучать свинью пению — во-первых, это бесполезно, во-вторых, это ее только раздражает»...

Итак, пословицы несомненно отражают жизнь общества, они как бы

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРАВОС, ВОЗЗРЕНИЙ, ПОВЕРИЙ. Это и летопись истории — неподмалеванной, достоверной, и поэтическое творчество — ритмическое, часто рифмующееся. С завидной краткостью пословица выражает думы народа, его чаяния, надежду, веру и безверье, его представления об окружающем, его понимание себя.

Наивеличайшим собирателем русских пословиц был сын датского врача, получившего российское подданство, Владимир Даль. Его коллекция, изданная в середине прошлого столетия, насчитывает более 30 тысяч пословиц, поговорок, прибауток, присловий, загадок и тому подобное.

## ПОСЛОВИЦА НЕ СУДИМА —

слова эти стоят эпиграфом к сборнику,

на борьбу за издание которого Владимир Даль потратил около десяти лет. Я же привожу пословицы из более позднего издания этого сборника — Москва, 1957.

Есть Бог или нет его, услышит он или не услышит, воздаст или не воздаст, рассчитывать приходится лишь на самого себя: «На Бога надейся, а сам не плошай» — гласит наименее популярная народная мудрость.

«Приглядитесь пристальнее к русскому народу», — приглашает неистовый Виссарион Белинский. И что ж, приглядываясь к народу сквозь его же думы, мы видим, что это народ-спорщик, народ-упрямец и народ-балагур, пестрый, как стародавний российский кафтан и, конечно же, далекий от единомыслия.

Перебирая пословицы и поговорки из коллекции Даля, я представил себе сцену с несколькими собирательными персонажами: это — смысленный мужичок, едва сводящий концы с концами и не дурак выпить; непременно церковник-наставник; это — тихий человек, боящийся бога, церкви и начальства, всётерпящий, но поучающий; и, наконец, — продукт извечного русского поверья и суеверия. Итого — четыре. Теперь рассмотрим, как эти разные воззрения отражены в русском фольклоре:

«С Богом пойдешь — до блага дойдешь», а «отстанет Бог, покинут и добрые люди»,

### ПОУЧАЕТ НАБОЖНЫЙ,

и добавляет: «В мире всё творится не нашим умом, а божьим судом», ибо «Бог не дремлет — всё слышит».

— Куда там, не дремлет?! — возражает мужик. — «Бог попускает, и свинья гуся съедает»; не зря говорят, что «на весь мир и сам Бог не угодит».

— Молиться надо, — встречает церковник: «Молитва — полпути к Богу». А то всё земное да земное. «Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Бог молятся».

Суеверный (боязливо оглядываясь): «Бога зови, а черта не гневи! Богу угождай, а черту не перечь!»

Мужик упирается: «Бог богом, а люди людьми». Ведь если худо кому — что толку в слезах: «плачься богу, а слезы — вода».

«Что бы ни пришло, все молись», — смиренно говорит всётерпящий.

«Аминь спасает человека», —

### НАСТАВЛЯЕТ ЦЕРКОВНИК.

«Не скажешь аминь, так и выпить не дадим».

Но мужик всё упрямится: «Аминем беса не перешибешь».

Суеверный: «Поп свое, а черт свое...»

Всестерпящий: Слушай священника — «послушание паче поста и молитвы».

Мужик: «Испостился, измолился в нитку, доколе!»

Суеверный (скороговоркой): «Стоя на молитве, ног не расставлять: бес проскочет...»

Церковник: «На этом свете помучаемся, на том порадуемся».

Всестерпящий: «Свет в душе от молитвы, а в храмине от свечи».

### МУЖИК УПРЯМИТСЯ:

«Повадишься к вечерне — не хуже харчевни: нынче свеча — ан шуба с плеча».

Церковник: «На балалайку станет, и на кабака станет, а на свечку не станет?»

Мужик: «Знают и чудотворцы, что мы не богомольцы».

«Близко к церкви, да далеко от бога».

Церковник: «Церковь не в бревнах, а в ребрах», но... «без денег в церковь ходить грех».

Мужик: «Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньги подавай», а тут «бедность в клюку гнет».

Всестерпящий и церковник (в один голос): «Бедность — святое дело».

Мужик: Знаю, что «бедность не порок, да без шубы холодно».

Церковник: «Ни Бога не боится, ни людей не стыдится» — «душа христианская, да совесть цыганская».

Мужик: «Душа не сосед, пить-есть хочется».

### СУЕВЕРНЫЙ УСТРАШАЕТ:

«Бес не ест и не пьет, а пакости деет...»

«Бог за худое плательщик...»

Мужик: «Не в силе бог, а в правде».

... Пожалуй, этого хватит, чтобы получить представление об исконном российском отношении к богу и церкви.

### НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ,

именно в правде, а не в каких бы то ни было условностях или внешней атрибутике.

Мой старый китайский друг и учитель

Ли Сеншен как-то задал мне, 13-летнему, нечто вроде задачи-загадки:

— Перед тобой две дороги: по одной идет праведник, по другой — грешник. За кем последуешь ты?

— За праведником, конечно!

— Неверно.

— За грешником? . . .

— Тоже неверно.

— Так за кем же?

— Всё зависит от того, куда кто идет, — старик улыбнулся так, как обычно улыбался, когда ему в очередной раз удавалось меня озадачить. И пояснил: — Если случилось так, что праведник свернул на путь греха, а грешник вышел на путь праведный, то верно будет в таком случае следовать за грешником . . .

Этой мысли старого китайца близко высказанное Томасом Джефферсоном в 1816 году в письме г-же Смит, жене издателя газеты «Нейшнл интеллидженсер»: «В нашей жизни, — писал Джефферсон, — а не в наших словах должна быть прочитана наша религия».

И все же неудивительно, что по миру разнеслась слава о том, что советские люди воинствующие атеисты (о российском мужике давно забыли). Характеристика эта закрепилась будто во время, а то и

## ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА,

когда немалому числу священнослужителей бросали в лицо обвинения в стяжательстве, ханжестве и пьянстве, когда церковное добро разворовывалось, а храмы разрушались.

Теперь, когда буря ярости пронеслась, а вместе с ней прекратился и грабёж амбаров, зажиточных поместий и богатых церквей (явление, увы, сопутствующее смутным дням), теперь, когда страсти поутихли, а укрепившаяся власть пребывает на исходе третьего поколения, оглядевшись, можно с уверенностью сказать, что советский человек — не воинствующий атеист. А если он ни в Бога, ни в церковь не верит, то само отсутствие веры не означает противостояние Богу, а еще меньше борьбу с ним. Просто Бог исчез из его сознания.

В истории случалось не раз, когда при общем крушении теологического влияния общество утрачивало существенную долю нравственности. И хотя разговоры о благе человека не сходили с повестки дня, забота о нем как бы отодвигалась на второй план. Ибо

нужен он властям прежде всего для укрепления самой власти, ну и, конечно, для покрытия долгов и текущих расходов. Притязания же человека на права личности воспринимаются как нечто неприличное — эгоистическое и предосудительное. Появляются такие фразы, как «интересы государства (власти обожают называть себя государством) выше личных интересов».

На разном этапе эти «высшие» интересы обретают свою словесную или

## ИДЕЙНУЮ МЕРКУ.

Разве не к «братству» призывали французы соотечественников в конце XVIII века, а четыре года спустя не они ли приступили к гильотинированию несогласных? Разве не утверждали средневековые инквизиторы, что Святая Церковь превыше всего, сжигая при этом инакомыслящих на кострах? . . . Разве не настаивали российские священнослужители на том, что православная церковь первичнее, преследуя при этом отступничество и зорко следя за тем, чтобы мужик не высвободился ненароком из крепостничества?

«За царя!», «За короля!», «За императора!» — звали военачальники мира на поля гибели на поле боя — уцелевшие возвращались к нужде и невеле. Были

## ПРИЗЫВЫ

и того выше: «За Бога!», «За сына божьего!» — и за это полегло несметное число. И всегда борьба была «священной» — говорится же в Евангелии: «Кто не со мной, тот против меня» (Матв., 12:30). (Сталин обожал эту идею.) Записано же в Коране: «убивайте неверных везде, где их найдете» (IX, 5) — провозгласил же аятолла Хомейни Соединенные Штаты и Советский Союз «скопищем неверных» (современная печать).

Были призывы и более приземленные, с конкретным адресом: «За Александра Великого! . . . Карла Великого! . . . Петра Великого! . . . Екатерину (или Елизавету) Великую!». «За Наполеона . . . Сталина . . . Муссолини . . . Франко . . . Гитлера . . . Мао . . . Хо Ши Мина . . .» — несомненно тоже великих.

А что до человека — обычного, не великого — ему отведена роль поминать свои обязанности, повиноваться, кричать «ура», работать на власть и погибать в бою.

Обманными зачастую оказывались и такие универсальные призывы, как за Свободу и Независимость. Ибо пользующиеся этими понятиями нередко стремились лишь к тому, чтобы занять место власти существующей. Что до «борцов» за эту Свободу, то их новоиспеченные «вожди» обычно рассматривали как «средство» для достижения намеченной цели — помните, интересы «государства» — первичнее.

«За Революцию!» — наиболее популярный лозунг последних двухсот лет. В Соединенных Штатах он сработал на благо человека, в Советском Союзе — на благо власти.

В Америке для всякой веры и взглядов упростились

### **НОРМЫ ТЕРПИМОСТИ.**

В СССР — с первых дней Революции пропагандировалась «священная нетерпимость» к несогласным.

Урезанное в могуществе церковное руководство включилось в коллаборацию с новой властью, заодно следя за тем, чтобы не всякая вера этой властью признавалась.

Историк Саул К. Падовер в книге «Джефферсон» приводит такие слова американского демократа: «В любой стране, в любое время священник был врагом свободы. Он всегда находится в союзе с деспотом, поощряя его злоупотребления взамен за собственную защиту».

Но поскольку в советском обществе нет, как предполагал К. Маркс в «Капитале», «полного исчезновения религиозного отражения мира, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и природой», и поскольку нынче в стране насчитываются десятки миллионов христиан и не меньше мусульман, около двух миллионов евреев, множество буддистов, брахманистов, конфуцианцев, иеговистов, последователей Харе Кришна и других верований, то вполне возможно, что ваш собеседник окажется религиозным.

В основном

### **СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ**

я встречал таких, кто верит где-то внутри себя, сознавая, что церковь — это добровольное объединение людей и никто не властен предписывать другому свою веру. Диалог с такими людьми часто содержательный и неизменно мирный.

Встретится вам бесспорно и такой, кто настолько убежден в истинности именно своей религии («истина ведь одна», говорит Солженицын), что всякого не объятую этой религией он рассматривает как неполноценного.

— Возьмите академика Сахарова, — сказала как-то моя православная коллега, — русский, а ущербный.

— Почему?

— Он же неверующий!

Писал Достоевский (кажется, в «Идиоте»): кто не православный, тот не русский. Мне же сама эта мысль представляется ущербной. Так легко договориться до того, что тот лишь истинно русский, кто носит окладистую бороду, косоворотку, пьет квас и утирается рукавом — как, впрочем, еще недавно представляли себе русских на Западе. Или тот лишь настоящий американец, кто жует резинку, носит клетчатые штаны, сорит деньгами и громко разговаривает в общественных местах.

Что касается веры в «единую истину», то русские, видимо, имеют такое же право на свой хомейнизм, как иранцы на свой. Принуждение в вере есть насилие над мыслью и волей и ничем не отличается от любого идеологического принуждения.

В беседе искренней, особенно о Боге, не надо стесняться раскрываться, делиться задушевностью — это согревает. Не надо стесняться и выражать сомнения, ибо искренность и

### **ДОВЕРИЕ К СОБЕСЕДНИКУ**

вызывают уважение, по меньшей мере, понимание. Можно даже критиковать религиозные обряды или церковь, если вы думаете, что эта критика уместна и чувствуете, что способны выразить ее не агрессивно.

Прибегать к критике церкви не боялись лучшие представители американской мысли. Томас Джефферсон писал в Заметках по Локку и Шэфтсбери: «Каждая церковь правомерна сама для себя, для других же она — заблуждающаяся или еретическая».

Эта джефферсоновская мысль как-то перекликается со словами популярного русского барда Александра Галича:

«Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,

Не бойтесь мора и глада,  
А бойтесь единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

## ТЕРПИМОСТЬ

— и вы к этому должны быть готовы — не самая сильная сторона советского человека.

Как-то в Лондоне на Би-Би-Си я оказался свидетелем горячего спора о религии между двумя английскими журналистами, спора, сопровождаемого обоюдными колкостями и повышенным тоном. Несколько позднее я был приятно удивлен, когда застал этих же двоих в кафетерии радио за 5-часовым чаем, преспокойно обсуждающими женщин и скачки.

Подобное среди советских людей почти невозможно, да еще с личными выпадами — они, как правило, надолго сохраняют чувство враждебности.

За долгие годы жизни в Советском Союзе, за сотни часов дискуссий и споров с друзьями и недругами мне ни разу не довелось услышать ничего и близкого к мысли, приписываемой Вольтеру: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но до последнего дыхания буду защищать ваше право это говорить».

Более удачного определения терпимости я не встречал (при условии, разумеется, что «говорящий» не проповедует идею превосходства, не призывает к насилию, вражде или ненависти).

Вашему советскому собеседнику несомненно интересно будет узнать об уникальном американском документе, вступившем в силу закона в Вирджинии в 1786 году, за год до принятия Конституции Соединенных Штатов и за пять лет до утверждения Конгрессом США Билля о правах, который, кстати, начинается с провозглашения свободы религиозных воззрений. Я имею в виду Билль об установлении религиозной свободы, появившийся на свет более чем за полтора столетия до провозглашения Организацией Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека и в определенном смысле превосходящий ее. Документ этот, составленный Джефферсоном, преисполнен глубокого демократического содержания. Он не только провозглашает

### **ПРАВО ЧЕЛОВЕКА ВЕРИТЬ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ,**

но и — чего нет в Декларации — запрещает властям вмешиваться во взгляды людей или навязывать им дру-

гие взгляды в качестве государственного эталона.

Вот этот документ, в котором я постарался сохранить и выделить суть, сократив его почти в четыре раза, не изменив, не заменив и не прибавив при этом ни единого слова:

«... Бог создал ум свободным и... невосприимчивым к обузданию... Все попытки воздействовать на ум... наказаниями... приводят лишь к... привычке лицемерить... Нечестива презумпция власти и правителей... которые... взяли на себя руководство верой других, выдавая свои собственные взгляды за единственно правильные и безошибочные, стали навязывать их другим... Наши гражданские права не зависят от наших... взглядов... Объявлять гражданина недостойным... если он... не признает то или иное... учение, — значит несправедливо лишать его тех привилегий и преимуществ, на которые он... имеет естественное право... Взгляды людей не подчиняются гражданской власти и не входят в ее юрисдикцию... Дозволять... властям вмешиваться в область мировоззрения людей... считая их неверными, — опасное заблуждение, которое... разрушает... свободу... Истина... восторжествует... если только... вмешательство не лишит ее естественного оружия — свободной дискуссии и спора...»

Почти семь лет шла борьба вокруг этого билля, прежде чем он стал законом. Противники свободной дискуссии, носители «единственно верной истины» — негодовали. Защитников права каждого самому решать, каких взглядов ему придерживаться, верить или не верить, а если верить, то во что, и следовать ли предписаниям, одобренным и канонизированным властью, — в чем только не обвиняли, начиная от контрреволюции и кончая дьявольщиной.

Брань в адрес демократов длилась много лет и после принятия Билля об установлении религиозной свободы. Так, почти 20 лет спустя, когда Джефферсон баллотировался на пост президента, нью-йоркский священник голландской реформаторской церкви Линн публично объявил будущего президента «язычником», заключив, что само создание билля, защищающего

### **ПРАВО НА РАЗНОМЫСЛИЕ,**

могло «исходить только от человека,

который является смертным врагом Его имени и Его дел».

Сам же Джефферсон не пытался ни создать новообращенного, ни изменить чью-либо веру. Он лишь считал, что союз единомыслия с государственной властью неизбежно приведет к тирании (примером тому может служить расцвет инквизиции католической церкви в Испании, деспотизм лютеранской церкви в Пруссии и ярчайший пример нашего времени — террористическая власть мусульман-шиитов в Иране). Желания и устремления Джефферсона были великолены по своей простоте и справедливости: все должны быть равны и свободны во взглядах — христианин, еврей, мусульманин, любой верующий и неверующий.

В этом и заключается ценность билля: он разрушает монополию на Истину, отвергает союз единомыслия с властью, защищает право на инакомыслие и разномыслие, узаконивает свободу дискуссии.

Ваш советский собеседник, наверное, захочет услышать об этом документе-первопроходце всё, что вы сможете рассказать. Значение документа и в самом деле шире, чем религиозная свобода, — это и право на открытое и беспрепятственное выражение взглядов и убеждений, право, которым, к сожалению, большая часть государств современного мира не может пока похвастаться.

Более того, судьба этого документа всегда будет служить примером борьбы дискуссионной и победы бескровной — моделью, столь нужной в наши дни. И то, что для американцев — пройденный этап, для советских, возможно, этап предстоящий.

И все же, если во время дискуссии с советским человеком вы скланны будете поделиться хоть какими-то нравственно-этическими нормами религиозной культуры, то, на мой взгляд, увлекательным предметом разговора могут оказаться

### **ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ,**

которые совсем не обязательно воспринимать как свод правил для верующего. Конечно, более трех тысяч лет они служат фундаментом законов иудаизма; две тысячи лет — основой христианского учения. Но в то же время (и с этим нельзя не согласиться) они представляют собой нормы общечело-

веческие, независимые от той или иной религии — нормы общежития, добрососедских отношений, нормы мира.

(Сознавая, что в Ветхом завете существует несколько редакций заповедей, я подумал, что, во избежание схоластического спора, лучше не цитировать их — всегда может оказаться не та редакция — а пересказать в их наиболее распространенном виде, по записи в 20-й главе Исхода и 5-й главе Второзакония.)

**ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ БОГОВ ПЕРЕД ЛИЦОМ МОИМ** — эта заповедь, провозглашающая единобожие, — заповедь Мира, скорее даже надежды на окончание многочисленных войн, которые во времена исхода евреев из Египта нередко велись между городами и государствами, почитавшими разных богов, а посему считавшими друг друга неверными.

Вера в единого бога как бы кладет конец спорам и ссорам о том, чей бог божественнее и лучше, кладет конец враждебности, зачастую приводящей к войне, — прокладывает путь к миру.

**НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА И НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОГО, ЧТО... НА ЗЕМЛЕ...** — если бы эта часть второй заповеди соблюдалась, то не было бы ни Гитлера, ни Сталина...

**НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА ВСУЕ** — то есть не повторяй при каждом случае «гениальный... великий Учитель... Вождь... Фюрер... Дуче... великий Ленин... великий Мао...» — разве не с этого начинается поклонение личности, культ диктатора и тирана?

**ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ, А СЕДЬМОЙ — ПОКОЙСЯ** — эта чисто социальная норма — исток защиты прав трудящихся, если хотите, начало рабочего и профсоюзного движения.

**ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ** — здесь мы видим уже межчеловеческие отношения. Верно, с этого начинается воспитание ребенка. Но обращена эта заповедь и ко взрослым: предписание уважать родителей можно понимать и как наказ уважать старших вообще, без чего немислима ни семья, ни преемственность поколений. А без них, в свою очередь, немислимо выживание человеческой культуры.

**НЕ УБИВАЙ,  
НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ,**

НЕ КРАДИ — встречаются эти три заповеди в законоположениях, пожалуй, всех государств. Это хорошо. Досадно лишь то, что человечество испокон века умудряется оправдывать их нарушение, особенно если убийство, кража и даже прелюбодеяние совершаются во имя каких-то «высших» интересов — политических, идеологических, религиозных. Сами же заповеди остаются в том виде, в каком и появились в XIII столетии до нашей эры — нетронутые временем, краткие и точные — ни усилить их, ни изменить.

НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА НА БЛИЖНЕГО СВОЕГО. Нарушать это предписание столь же опасно, как и заповедь «не убивай», и вот почему: лишь в XX веке в результате усилий ведомств, подобных гестапо и КГБ, по ложным доносам репрессировано и истреблено не меньше людей, чем в двух мировых войнах.

НЕ ЖЕЛАЙ ДОМА БЛИЖНЕГО ТВОЕГО... НИ ЖЕНЫ... НИЧЕГО, ЧТО У БЛИЖНЕГО ТВОЕГО — эта заповедь, в отличие от предыдущих, призывающих человека что-то делать или не делать, апеллирует к человеческому чувству, разуму. Она призывает к уважению уклада жизни другого — семьи, имущества, репутации. Она накладывает нравственные обязательства, призыва-

ет контролировать невольные порывы и желания. «Не желай дома ближнего твоего...» — здесь, несомненно, речь идет о большем, нежели о соседской постройке по ту сторону забора, о доме, как мне кажется, в широком смысле — о доме-земле, о доме-родине — будь то дом финна или латыша, венгра, чеха или афганца.

Вот и весь свод предписаний, договор человека как бы с самим собой, соглашение с себе подобным, правила человеческого общежития, условия существования, пакт о взаимных обязанностях, моральный кодекс, хартия мира.

Это — не слепые догмы, а разумные условия выживания, не жесткие предписания, а закон любви, рожденный, согласно легенде, на горе Синайской, в дымном облаке и огне. Это, если хотите, первая Всеобщая Декларация прав Человека.

Но... будь я на месте Моисея, то выпросил бы у Бога одиннадцатую заповедь (правда, происхождения она не древнееврейского, а более позднего — древнегреческого, подхваченная затем римлянами) — заповедь, без которой немислима справедливость, а в наше время немислим и диалог между людьми разными:

ДА БУДЕТ ВЫСЛУШАНА И ДРУГАЯ СТОРОНА.

Виктор ФЕДОСЕЕВ родился в 1929 году в Приморском крае, но судьба определила ему стать гражданином мира. Пяти месяцев от роду со своими родителями он попал за границу, где, оставаясь советским гражданином, прожил более двадцати лет. Он учился в Шанхае во французском колледже, пять лет служил мотористом на иностранных торговых судах, был студентом в США. В 1950 году принял активное участие в сборе подписей под знаменитым Стокгольмским воззванием, за что подвергся преследованиям американских властей и по решению Федерального суда был депортирован из США на 99 лет за антиамериканскую деятельность...

Федосеев избирает местом жизни Советский Союз. Осваивает неизвестную ему страну, язык. Те, кто входил в литературу в 60-е годы в Риге, наверняка помнят настойчивого, спокойного патентоведца с «Саркана звайгзне», приносившего на семинары в Союз писателей свои первые рассказы, повесть. Многие прочили ему карьеру чиновника, но «американец» и слышать не хотел ни о чем другом, приспосабливая крохотную квартиру на улице Авоту в писательский кабинет. Он ушел с работы, его жена Аля давала уроки английского и музыки, мотаясь в Елгаву на утренних поездах, а машинка на улице Авоту все стучала. Здесь были написаны почти все книги — «Гермес из Манхэттена», «... и всюду человек», «Подсудимый невиновен», «Мэри, нас избрали!»...

В те годы считалось, что Федосеев — авторитетнейший специалист по «одноэтажной Америке» — так писали международники-американисты о рижанине. Тем не менее — его не выпускали за границу, ему не доверяли, его подозревали, его не принимали в писательский союз. Ему прямо сказали: ты из Америки, черт тебя знает.

Сестра писала ему из США, что страна меняется и что тема требует хотя бы поездки по Штатам, она брала все расходы на себя. Но его не выпускали ни с женой, ни одного, оставшегося жену в залог...

Правозащитная деятельность, начатая в США, обретает для него совсем иной смысл в советских условиях. В книге Людмилы Алексеевой «История инакомыслия



в СССР», вышедшей в 1984 году в Америке, мы читаем: «Выпуск информационного бюллетеня за выезд в Израиль «Исход» начал русский — Виктор Федосеев . . .»

В 1971 году он, ради сохранения свободы, вынужден был эмигрировать из Советского Союза. Провожали его в московском доме одного из диссидентов, где часто бывали Солженицын и Коржавин. Под окнами урчали моторами черные «Волги» наружного наблюдения. Каждый, кто пришел на проводы, был, как водится, вызван в органы. Рижане тоже — в Риге. Странный вопрос волновал органы: почему уехал Федосеев! . . .

С 1972 года Виктор Федосеев и его жена Аля Федосеева — сотрудники русской редакции радио «Свобода». Пробивая «глушилки», их голоса добивались до советского слушателя, чтобы утолить информационный голод, чтобы понятие о правовом сознании окончательно не потерялось среди передовиц «Правды», передач «Маяка» и программы «Время».

Сегодня Виктор Федосеев один из крупнейших в журналистском мире специалистов в области прав человека. С приходом перестройки программа, которую он редактирует, лишь приобрела актуальность: проблемы прав человека только только начинают решаться в СССР.

Предлагаемая читателю глава из книги, над которой сейчас работает писатель, открывает нам нового, еще неизвестного Виктора Федосеева. Написанная как проповедь она заставляет задуматься о вечном поиске веры.

## ГЕРМАНО-СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

### ОТ РЕДАКЦИИ.

Эта статья Льва Троцкого была прислана нам старшим преподавателем кафедры истории СССР Оренбургского пединститута В. Войновым, исследующим политические позиции интеллигенции России, в том числе наследие Л. Д. Троцкого. Статья обнаружена В. Войновым в «Бюллетене оппозиции (большевиков-ленинцев)» № 79—80 за август—октябрь 1939 года — журнале, который выходил в Париже под руководством Троцкого. Изгнанный из страны, Троцкий продолжал тщательно следить за поворотами политики СССР и давать им свою оценку. Естественно, он не мог пройти мимо германо-советского пакта, который теперь, спустя полвека, снова стал объектом горячих дискуссий и все еще определяет судьбу Прибалтики. При всей сложности нашего сегодняшнего отношения к фигуре Троцкого, мы решили опубликовать его койоаканскую статью, показывающую нам, какой резонанс вызвала у современников позорная сделка двух хищников. (Орфография и пунктуация подлинника.)

С разных сторон меня спрашивают, почему я не высказался своевременно по поводу германо-советского пакта и его последствий. Этому помешали личные обстоятельства. (Болезнь и отъезд из Мексико в деревню.) События сами по себе, думал я, так ясны, что не требуют комментариев. Оказалось не так: в разных странах все еще существуют люди, — правда, их становится все меньше и меньше, — которые осмеляются предать изображение Кремля как акт политической доблести. По словам этих господ выходит, что у Сталина и Гитлера есть общие цели, которые они совместно преследуют методами тайной дипломатии в интересах . . . мира и демократии. Неужели этот довод на отвратительное шоу?

С 1933 года мне не раз приходилось в печати указывать и доказывать, что Сталин ищет соглашения с Гитлером. В частности, я привел доказательства в пользу этого прогноза в своих показаниях перед следственной комиссией Джона Дьюи в Койоакане, в апреле 1937 г. Циники на службе Кремля пытаются теперь представить дело так, что подтвердилась их программа: «союза демократий» и «коллективной безопасности», тогда как мой прогноз оказался ложным: я предсказывал, будто бы, заключение **наступательного** военного союза, тогда как Сталин и Гитлер заключили лишь пацифистский, гуманный пакт о взаимном ненападении (Гитлер, как известно, строгий вегетарианец). Неясно лишь, почему именно Гитлер открыл наступление на Польшу немедленно после объятий Риббентропа с Молотовым? Некоторые наименее умные из адвокатов Кремля вспомнили неожиданно (раньше они этого не знали), что Польша является «полуфашистским государством». Выходит, что под благотворным влиянием Сталина Гитлер открыл войну против . . . «полуфашизма».

Или, может быть, Гитлер попросту обманул девственное доверие Сталина? Если б дело обстояло так, то Сталин мог бы легко разоблачить обман. На самом деле **Верховный Совет ратифицировал договор в тот самый момент, когда германские войска переходили польскую границу.**

Сталин хорошо знал, что он делает. Для нападения на Польшу и для войны против Англии и Франции Гитлеру необходим был благожелательный «нейтралитет» СССР . . . плюс советское сырье. Политический и торговый договор обеспечивает Гитлеру и то и другое.

На заседании Верховного Совета Молотов хвастал выгодностью торгового договора с Германией. Удивительно в этом нет ничего. Германин дозарезу нужно сырье. Когда ведут войну, не считаются с расходами. Ростовщики, спекулянты, мародеры всегда наживаются на войне. Кремль питал нефтью итальянский поход на Абиссинию. Кремль содрал двойную плату с Испании за то плохое оружие, которое он поставлял. Теперь Кремль рассчитывает получить с Гитлера хорошую плату за советское сырье. Лакеи Коминтерна и здесь не стыдятся защищать образ действий Кремля. У каж-

дого честного рабочего от этой политики сжимаются кулаки.

Спустившись на самое дно цинизма, адвокаты Кремля видят теперь великую заслугу Сталина в том, что он сам не нападает на Польшу. В этом обстоятельстве они открыли также ошибочность моего прогноза. Но на самом деле я **никогда** не предсказывал, что Сталин заключит с Гитлером **наступательный** союз. Сталин больше всего боится войны. Об этом слишком ярко свидетельствует его капитулянтская политика по отношению к Японии в течение последних лет. Сталин не может воевать при недовольстве рабочих и крестьян и при обезглавленной Красной Армии. Я говорил это не раз в течение последних лет, и я повторяю это ныне. Германно-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашистским империализмом в целях самосохранения советской олигархии.

Во всех организованных Коминтерном пацифистских маскарадах Гитлер неизменно провозглашался главным, почти единственным агрессором; наоборот, Польша изображалась невинной голубкой. Теперь, когда Гитлер перешел от слов к делу и открыл агрессию против Польши, Москва тоже перешла к делу и . . . помогает Гитлеру. Таковы простые факты. От них нельзя отвертеться софизмами.

Адвокаты Кремля ссылаются на то, что Польша отказалась допустить на свою территорию советские войска. Хода тайных переговоров мы не знаем. Допустим, однако, что Польша ложно оценила свои собственные интересы, отказавшись от прямой помощи Красной Армии. Но разве из отказа Польши допустить чужие войска на свою территорию вытекает право Кремля помогать вторжению германских войск на территорию Польши?

Адвокаты Кремля ссылаются, наконец, на то, что германно-советский пакт разбил «ось», изолировав Японию. На самом деле **СССР заменил собою Японию в составе оси.** Помощь далекого Микадо военным операциям Гитлера в Европе имела бы почти невосможный характер. Наоборот, помощь Сталина имеет глубоко реальный характер. Немудрено, если Гитлер предпочел дружбу Сталина дружбе Микадо. Неужели же «пацифисты», «демократы», «социалисты» могут без краски стыда на лице говорить об

этой новой дипломатической комбинации?

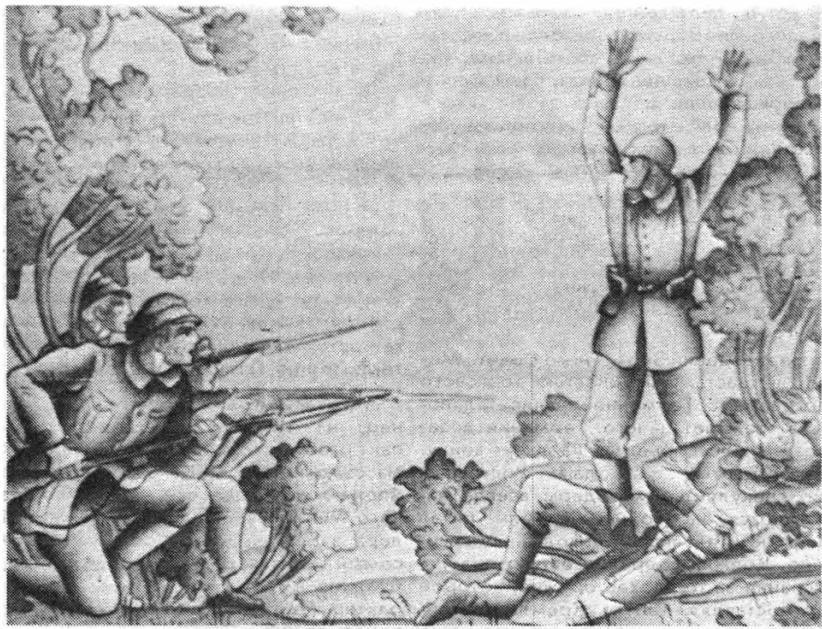
О рабочем классе эти господа не думают вовсе. Между тем тот хаос, который зигзаги Коминтерна порождают в головах рабочих, является одним из важнейших условий побед фашизма. Надо на минуту вдуматься в психологию революционного немецкого рабочего, который, с постоянной опасностью для жизни, ведет подпольную борьбу против национал-социализма и внезапно узнает, что Кремль, располагающий громадными ресурсами, не только не ведет борьбы против Гитлера, но, наоборот, заключил с ним выгодную сделку на арене междуна-

родного разбоя. Не вправе ли этот немецкий рабочий плюнуть в лицо своим вчерашним учителям.

Так рабочие несомненно и сделают. Единственной «заслугой» германо-советского пакта является то, что, раскрыв правду, он разбил позвоночник Коминтерну. Со всех сторон, особенно из Франции и Соединенных Штатов, идут сведения об остром кризисе в рядах Коминтерна, об отходе от него империалистских патриотов в одну сторону, интернационалистов — в другую. Этого распада не остановит никакая сила в мире. Мировой пролетариат перешагнет через измену Кремля, как и через труп Коминтерна.

Койоакан, 4 сентября 1939 г.

Л. Троцкий



Никлас Струнке. Пленники. Иллюстрация к роману А. Грина «Души в снежном вихре»

Яков ДРУСКИН



## СНЫ

### 1. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СНАХ

Сон напоминает чтение книги, которой я настолько увлекся, что почти наглядно представляю себе, что там происходит, отождествляюсь даже не с одним действующим лицом, а с несколькими. Что это за книга, которой я увлекаюсь во сне? Может, она интереснее и важнее того, что происходит наяву?

Меня интересует реальность сна, степени реальности различных состояний бодрствования, сонные состояния наяву, наложение сонных состояний на бодрствованные.

Меня интересуют повторяющиеся сны, прерванные и продолжающиеся, сон во сне, сон наяву, явь во сне.

Может, сон существует только в воспоминании сна? Может, некоторое первоначальное недифференцированное мгновенное состояние при столкновении двух реальностей: сон — бодрствование является мне как сновидение? Тогда видим сон не во сне,

когда спим, но наяву, когда просыпаемся, но еще не проснулись.

Это рассуждение можно продолжить: может, и жизнь — только воспоминание на грани между жизнью и смертью, жизнью и другой жизнью?

Может, сон снится только в момент просыпания? Но, может, и жизнь только воспоминание при просыпании — смерти? То есть рождение той жизни и свершение сопровождаются воспоминанием, создающим эту жизнь. Ведь прошлое мы имеем тоже сейчас и только в воспоминании.

Возможное возражение: но ведь «сейчас» много. — Это неверно. Сейчас с одно, остальные «сейчас» в воспоминании.

(...)

Я вспомнил, что мне снилось что-то. Когда? Мне показалось, что снилось сегодня. Я стал вспоминать. Вчера мне тоже казалось, что снилось сегодня. Когда же снилось? Вчера или сегодня, или сейчас мне показалось, что это снилось сегодня или вчера, так что и вооб-

---

Яков Семенович **ДРУСКИН** (1902—1980) — философ, музыкант и математик, человек с поэтическим строем души.

В 1923 году он окончил философское отделение Ленинградского университета, где учился у профессоров Н. Лосского и Э. Радлова, позднее окончил экстерном фортепианное отделение Консерватории и математическое отделение того же университета.

Несмотря на столь глубокое и разностороннее образование, он с ранней молодости строит жизнь согласно своему внутреннему закону, резко разграничивая Дело, являющееся его призванием, и службу ради заработка (первые годы после окончания университета преподавал русский язык и литературу, а затем математику в школах и техникумах Ленинграда).

ще не снилось? Может, сонные состояния проникают в явные, как иррациональные числа в множество рациональных, и хотя между любыми двумя явными состояниями найдется третье явное, найдется и множество неявных, и множество явных состояний пронизано множеством неявных. Может, время тоже не бесконечно делимо, а распадается на атомы или дармы времени и сонные атомы проникают между явными?

Я думаю о каком-либо событии. Когда оно было? Год или два, или три назад? Я не могу вспомнить, как будто бы его и не было, а есть только результат его — с ей ч а с. Сейчас — некоторое реальное состояние; представление о причине его, отнесенной к прошлому времени, только некоторый знак этого состояния, должно быть, знак его несовершенства, то есть моего греха.

Связь с воспоминанием сна при просыпании, когда не знаешь, когда он снился и снился ли вообще.

Сон — намек. Мне снился сон о сне, и во сне я узнал секрет сна, но утром сон забыл и секрет ушел от меня.

Когда меня нет — ничего нет, но когда я отступаю и смотрю, — это, может, наслаждение. Во сне я отступаю и смотрю.

Во сне у меня есть чувства, но я отступаю от себя и созерцаю свое чувство. Я не умер, но нет ощущения «я», поэтому нет боли бытия (во всяком случае, иногда). Об этом у Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу . . .»

Но есть и сны-мучители, как называли Лермонтов.

(. . .)  
Мне снилось, что я шел по дороге. Мне хотелось скорее прийти в какой-то сад в конце дороги, но надо было проходить мимо знакомого дома, и это каза-

лось мне страшным, но почему — я не помню. Просыпаясь же, вспомнил, что однажды был в этом доме, но тоже во сне, только в другом сне, и вспомнил, отчего страшно. Затем я вспомнил, что проходил по этой дороге уже не раз, и тоже в снах, и вспоминал все новые случаи, когда я ходил по этой дороге, но каждый раз во сне, так как ни этой дороги, ни дома никогда не существовало. Когда же мне снились все эти сны? Их было, по крайней мере, четыре или пять. Мне казалось, что дом и дорога мне снились в другие ночи, ведь в эту ночь во сне я знал, что дом связан с чем-то страшным, только не помнил с чем, а утром, просыпаясь, вспомнил. Но до этого дня я не думал ни о дороге, ни о доме. Может, это были сны во сне, как пасхальные деревянные яички, которые вкладывались одно в другое?

Во сне вспоминаемое событие снова переживается как реальное, то есть происходит возвращение назад, во всяком случае иногда. Закон «окончателности события» (Введенский) во сне нарушается.

Сон во сне: когда снится, что просыпаешься, то предыдущий сон воспринимается как событие, которое окончилось. Но бывают сны, когда окончательность события чувствуется еще страшнее, чем наяву.

Сон напоминает задачу, которую некоторое время обдумываешь, прежде чем решить. Во сне, как и при решении задачи, от последующего снова возвращаешься к предыдущему; во сне время обратимо или его вообще нет.

(. . .)

Если во сне я подумую о чем-либо с достаточной силой и желанием, то оно станет. Но во сне я не пользуюсь этим правом, я подчиняюсь закону сна. Все, что я вижу во сне, имеет ко мне

---

Пожалуй, лучше всего личность его характеризует его же изречение из дневника: «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил». Он много пишет, «запоём», преимущественно по ночам — философско-теологические и философско-поэтические трактаты и эссе: «Если что-либо мне является вдруг, само что-либо, а не предложения о нем . . . так что я делаю одержимым . . . то я не сочиняю и пишу не по памяти, а непосредственно вижу» (Из дневника).

Круг его интересов необычно широк. Помимо своей основной специальности — в первую очередь музыка (И. С. Бах, А. Шёнберг, А. Веберн, И. Стравинский) и литература (Гоголь, Достоевский, Пушкин, Кафка, Введенский). Результатом анализов музыки Баха явилась книга «О риторических приемах в музыке И. С. Баха» (Киев,

особое, близкое отношение, но я сам чувствую себя принадлежностью чего-то другого, иногда наблюдаю за собой, иногда даже не принимаю участие в сне, в происходящих событиях. Как только я нарушу закон сна и стану представлять себе что-либо, чтобы оно явилось, просто подумаю, что я обладаю такой силой, — оно является, но я просыпаюсь. (...)

Во сне порядок времени часто меняется: от последующего возвращаешься к предыдущему. Но дифференциал времени и во сне всегда положителен: время течет, то есть идет вперед. От этого то, что Введенский называл окончательностью. Но во сне только микроокончателность, то есть микронеобратимость времени: предшествующее мгновение прошло, но предшествующий промежуток во сне я могу иногда вернуть назад, то есть вернуться в него. Но так же ведь и наяву: положительность дифференциала времени — это свобода выбора, как ожидание, которое мы называем будущим, а воспоминание, как ряд, идет от «сейчас» назад, вспоминаемое тоже кажется идущим вперед, потому что в вспоминаемое мы произвольно вставляем положительный дифференциал времени.

Во сне что-то происходит, продолжается это долго, несколько часов или дней, а сон снится, может, одно мгновение. Как же большее время может уложиться в меньшем? Только в том случае, если нет ни того, ни другого. Время, «раньше», «позже», появляется тогда, когда слабеет реальность сна, то есть когда начинаю просыпаться и вспоминаю сон. Вижу ли что-либо во сне? Звуки ведь редко слышны, и во сне обычно не разговаривают, а непосредственно сообщают мысли. Если же

говорят, то немного, и слово имеет особый смысл: как картина, звук, движение руки, непосредственный знак. Возможно, что во сне ничего не вижу, не слышу, не обоняю, но имею первоначальное, не дифференцированное ощущение. Вспоминая же сон, разделяю первоначально недифференцированное ощущение, первоначальный знак — тогда появляется время («раньше», «позже»), события, чувства.

## II. СНЫ (1963—1979)

(...)

Мне снилась музыка, я почему-то считал, что это «Sanctus» Баха: вступил первый голос, потом — второй, потом — третий. Вступит четвертый голос, и я умру. Усилием воли я прекращал музыку. Она начиналась снова: вступал первый голос, потом — второй, потом — третий, вступит четвертый, и я умру. . . . Я был внутри беспощадной системы.

Это был сон-рассуждение: все, что я думал, — происходило. Если бы я подумал, что умираю, то умер бы. Мне показалась особенно страшной смерть от водяной собаки, стаи которых появились в Ленинграде; они плавали по Неве, выходили на берег и бросались на людей. Я сидел на столбе на Неве, довольно высоко, и думал, что я в безопасности от собак. Но затем я увидел, что собаки заметили меня и подплывают. И вдруг понял: подпрыгнув, собака схватит меня за ногу.

## КРУГОВОЙ СОН

Мы трое в избе. Что-то случилось. Я вспоминаю и, вспоминая, рассказываю: кто-то вошел. Это покойник без

---

1972; София, 1987). Ей предшествовал перевод с немецкого фундаментальной монографии А. Швейцера «Иоганн Себастьян Бах», 1965.

Общается он и с узким кругом современных композиторов, особенно выделяя музыку В. Сильвестрова и Г. Уствольской.

В послевоенные годы сблизился с художниками, в особенности с В. Стерлиговым (учеником Малевича) и Т. Глебовой (ученицей Филонова). Из старых мастеров ближе всех ему Рембрандт и Феофан Грек.

В живописи, как и в любом другом виде искусства, его интересы определяются теми же критериями, которые легли в основу его творчества.

Еще в молодые годы Друскину посчастливилось встретиться единомышленников и друзей, память о которых он

головы. Мы все видим — призрак. Он приблизился ко мне, прикоснулся к шее. В груди сдавило, дыхание остановилось. В это время кто-то вошел. Я вспоминаю и, вспоминая, рассказываю: кто-то вошел. Это покойник без головы. Мы все видим — призрак. Он приблизился ко мне, прикоснулся к шее. В груди сдавило, дыхание остановилось...

У меня было испытание на удачу. Испытывающий меня и я были некоторой системой удачи. Испытание удалось. Затем было второе испытание на удачу, и здесь уже я был испытывающим и перенес свою удачу на третьего, он был уже вполне гарантирован от всяких неудач. Я ему сказал: «У вас возраст удач, вы нашли совершенную равнодействующую между жизнью и смертью, вам нечего опасаться». Он, этот совершенный удачник, был небольшим бронзовым болванчиком в тележке с колесиками. В каком бы направлении его ни толкнуть, он откатывался и затем возвращался на место. При этом вставал и кланялся.

Я шел с Лидой по улице, и вдруг мне стало плохо. Идет врач с длинным шприцем, аршина в два. Я хочу сказать, что мне не так плохо, чтобы делать укол, но мне так плохо, что я не могу говорить. Врач приближается ко мне и на ходу делает укол. Меня уносят. Меня несут в какое-то помещение, потом по улице. Тут я понимаю — это сон или инсценировка смерти в лицах. — Но все же, — думаю, — и во сне небезопасно умирать. Но уже поздно — я умер. Меня оставляют лежать на улице, и все уходит. Мне делается так страшно, что я вскакиваю и бегу. По улице скачут лошади, едут автомобили,

и все это чуть не наезжает на меня. Я думаю: только что чуть не умер, и вот снова на каждом шагу угрожает смерть. Я лезу на какое-то недостроенное здание, проползаю между досками, каждую минуту чувствую, вот сейчас нога подвернется и я полечу в пропасть.

Так преследовала меня этой ночью смерть.

Мы — Т., старшая — Т<sub>1</sub>, я и Т., младшая — Т<sub>2</sub>, перешли из моей комнаты в столовую и легли на диван. Через некоторое время Т<sub>2</sub> рассердилась на Т<sub>1</sub> и ушла. Остался я и Т<sub>1</sub>. Вдруг Т<sub>1</sub> рассердилась на меня и тоже ушла. Остался я один. Полежал, а потом рассердился и тоже встал с дивана. На диване лежит платье, а под платьем — Т<sub>1</sub>, ведь она не вся ушла, только душа ушла, а тело осталось. Я взял тело на руки, понес к себе в комнату — там Т<sub>1</sub> — ей понадобится ее тело. Мне делают замечание: неприлично носить на руках, на виду у всех, а я знаками объясняю, ведь душа ушла, а тело само ходить не может. У меня в комнате были уже Т<sub>1</sub> и Т<sub>2</sub> и Лида. Кровать стояла у стены, а стена напротив была не сплошная, и в стене сидели кузнечик и сверчок. — И откуда они берутся, — ска-

Лица, фигурирующие в Снах, даны в аббревиатуре:

М. или Миша — мой брат, Михаил Семенович (М. С. Друскин — известный музыковед и культуролог. — /Ред./).

Н. или Нада — его жена, Надежда Александровна.

Лида — моя сестра, Лидия Семеновна. Т. — Тамара Александровна Липавская. Э. Л. Р. — Эрнест Львович Радлов — философ, профессор Ленинградского университета и директор Публичной библиотеки до и после 1917 года. (Примечания Я. С. Друскина.)

пронес через всю жизнь. Это — философ Леонид Липавский, окончивший вместе с ним университет, и три поэта: Александр Введенский, Даниил Хармс и Николай Олейников. Близость первых трех началась еще в 1922 году (окончили в разные годы одну и ту же гимназию им. Л. Лентовской), а с Хармсом и Олейниковым сблизился в 1925 году. В этом и последующих годах Введенский и Хармс, помимо общения эзотерического характера с указанными выше членами творческого содружества, принимали деятельное участие в ряде левых группировок поэтов и художников, из которых наиболее известным в наше время стало разогнанное весной 1930 года объединение ОБЭРИУ.

Как пишет Друскин: «С 1925 года Введенский некоторое время подписывал свои стихи «Чинарь авторитет бес-

зала Лида, — надо их убрать. — Кузнечика уберу, — говорю, — а сверчка оставлю, сверчки приносят счастье. Поймал кузнечика и понес его выпустить в окно. А в соседней комнате — в столовой — сидят мама и папа и говорят: силы-то на 150 граммов, а живем, как на 500.

Пока я ходил к окну выпустить кузнечика, стена с окном отодвинулась, и оказалось, что там пять окон и перед каждым окном оранжерея или сад с цветами. Туда я и пустил кузнечика, последним был его скачок в цветы. Тут я почувствовал, как это все хорошо, и понял, что все сейчас кончится, потому что сон, и проснулся. Это был сон о счастье, когда-то бывшем и безвозвратно минувшем.

Молодая женщина у врача. Он что-то пишет. Я вижу знак: 000. Это же не рецепт. Но женщины уже нет, и я понимаю: все это уже было. Молодой человек любит эту женщину, сегодня она должна дать ему ответ. Но ответ отрицательный. Врач — злой демон. Он знает ответ и посылает молодому человеку записку. Три нуля означают: кончай с собой.

Умирает двойник врача — злого демона. Посылают за врачом (злым демоном). Но он боится мертвых. С отращиванием берет руку двойника, чтобы пощупать пульс, но сразу же отбрасывает ее: «Чего же смотреть, умер». Двойник открывает глаза: «Нет, не умер». — Нет умер, — со злобой говорит вач. — Нет, не умер, — спорит покойник. «Тогда умрет!» — Не умрет, — кричит двойник. Разъяренный врач ложится на пол и начинает делать гимнастику. Все хочочут.

Молодой человек возвращается к себе домой, находит записку с тремя нулями и рядом порошок — яд, кото-

рый прислал врач. Он в горе, но потом решает — не умру, назло врачу, пусть сам умирает. Ложится на пол и начинает делать гимнастику.

Мы с Мишей возвращаемся домой. По дороге нас останавливает несколько человек, должно быть, убийцы. Я ухожу дальше, меня ничто не касается, а перед М. препятствие — веревки. Он их умело обходит, последнюю надо разрубить — он ее разрубает. Но затем для чего-то рубит и другую веревку, которая ему не мешает. Я забыл сказать, что веревки соединены узлами, в узлах стоят убийцы, главный убийца — вне узлов. Как только М. разрубил веревку, которая ему не мешала, я подумал: он совершил лишнее, теперь он погиб. И действительно, главный выхватывает пистолет и стреляет в одного из убийц, говоря: — Ты . . ., в другого: — Ты . . ., в Мишу: «Ты совершил лишнее!» Я хочу незаметно удалиться. Главный оборачивается ко мне: «Тебя ничто не касается, умри!» Я увертываюсь, оправдываюсь, бросаюсь к реке, он стреляет, и я умираю.

Здесь я должен добавить: убийцы и главный — все это было подстроено раньше. Это было в комнате, из которой мы вышли и, оказывается, туда же и идем. За окном была какая-то мерзость, но я все преодолел, а теперь умираю.

Я умер. — Вот, — подумал я, — только достиг некоторого благополучия и умер, и само благополучие оказалось фальшивым. — Это была первая смерть.

Я пришел, куда шел, и это была комната, из которой я вышел. Там уже были все. Опять появился главный, и он был то мерзкое, что я уже уничтожил: Он снова начал свои убийства. До четырех раз убивал он. У меня был опыт, и я рассказывал: после первой смерти

---

смыслицы»; Хармс называл себя «чинарем-взиральником». В одной из записных книжек Хармс упоминает Липавского как теоретика «чинарей». В конце двадцатых годов, когда я прочел Введенскому одну свою несохранившуюся вещь скорее литературного, чем философского характера, он «посвятил» меня в «чинари». К «чинарям» принадлежал и поэт Олейников».

Слово «чинарь» придумано Введенским, происходит оно от слова «чин», понимаемого как некий духовный ранг, как определенное отношение к жизни и к творче-

---

Wiener Slawistischer Almanach, 1985, Bd. 15.  
Журнал «Авора», 1989, № 6.



я почувствовал радость. После второй — все стало мерзко. После третьей, но что было после третьей — я не знаю. Но где же четвертая смерть? Мне сказали, что я сам себя убил четырьмя ударами ножа в живот, в промежутке между первой и второй смертью, увидя главного и не вынеся мерзости.

Я понял, что эта смерть в счет не идет. Снова появился главный и убивал других. Я же, искушенный, пройдя через три смерти, давал советы и помогал спастись другим. Потом появилась жертва главного — убитая им женщина. Она была отвратительна и получила способность убивать. Но я уже знал, что делать. Тогда она, видя, что прямо меня не убить, подает мне топор. Я знаю, ударив ее топором, я не убью ее, но она получит новую силу убивать меня. Я вонзаю топор в пол и говорю — исчезни. Она начинает исчезать. Я снова вонзаю топор в пол и повторяю — исчезни. Она все больше исчезает, но по частям, становится ничто. Но оставшаяся от нее часть стала больше, мне приходится все время повторять: исчезни, стань ничто, она исчезает очень медленно, и я с отвращением думаю: Господи, как это все несовершенно.

В комнате несколько человек разговаривают. Я молчу, не говорю ни слова, потому что знаю, что стал слабым и все, что ни скажу, глупо.

У меня еще осталось настолько ума, чтобы молчать.

(. . .)

Посмотрел в зеркало: на кончике носа язвочка, идет гной. Надавил — нос провалился. Пожалел, пропал нос; ну, ничего, проснусь, снова будет. Проснулся. Прежде всего за нос. Нет носа, провалился. — Уж это совсем

плохо, если и наяву нет, — подумал я и проснулся, нос цел.

Сонные превращения: книга — миска — велосипед. Книга была загажена. Я боялся заразы и думал: жалко, что не сжег. Через некоторое время я обжигал ее, ставшую теперь глиняной миской, в печи, которая была просто кроватью. Дрова не разгорались, и я сомневался, уничтожу ли заразу. В это время кто-то проехал на велосипеде. Это была все та же книга или миска, и я подумал: хорошо, что не сжег. Еще, может, и не заразился, а теперь какое удовольствие.

Во сне я вспомнил, что это сон, и сказал собеседнику: «Вы снитесь мне, значит, вы дух, у вас нет тела. — Нет, есть, — сказал собеседник. — Может, астральное? — спросил я. — Нет, материальное, — сказал он. Меня это удивило, но я боялся думать, может ли быть тело у человека, который мне снится, так как если во сне подумать, что это сон, то проснешься, а сон был интересный.

Проснулся и вспомнил, что во сне я вынул сон и положил его рядом, чтобы доспать после, и решил сейчас доспать его, но потом вспомнил, что уже доспал его.

Мне снилось что-то неприятное. — Может, это сон? — подумал я во сне. — Нет, кажется, не сон. Я стал напряженно думать, наступила темнота, ничего не видно. Значит, сон, подумал я во сне, — только бы не проснуться, пусть будет другой сон. И стал другой сон.

Просыпаясь, я подумал: это был сон, но содержание сна объективно: сон — форма бытия, бытие же остается, и ес-

---

ству. Часто встречаясь, они читали и обсуждали написанное каждым из них. Это было творческое общение, обогащающее и близость и различия в подходе к тому или иному вопросу.

В 1937 году их осталось четверо: был арестован Олейников. В середине августа 1941 года той же участи подвергся Хармс, а вслед за ним — Введенский. Липавский был призван на фронт и погиб, вероятно, в октябре 1941 года. Архивы Хармса и частично Введенского с осени 1941 года бережно хранил их друг.

Гибель друзей не ущемалась в сознании Якова Семёновича. Он мысленно обращался к ним, писал о них в дневнике, они продолжали жить в его подсознании — в снах. После войны на основании анализа творчества Введенского им написана работа: «Звезда бессмыслицы»

ли мне кто снился или снились определенные отношения между людьми, то отношения эти объективны, и участники их существуют и знают об этом, как и я. Я думал это еще в полусне, какой-то естественный имманентизм: общее сознание. А может, наоборот, гуссерлианство: содержание сна — бытие как *eidos*?

Рассуждение о бессмертии во сне. Есть ли бессмертие? Есть. Есть ли личное бессмертие? — Вопрос непонятен: ведь личность не в обладании чем-либо, а в освобождении от обладания, и бессмертие в том, чтобы отказаться от всего своего. Будет ли это личным бессмертием? Да, так как я сам отказываюсь от всего своего. Нет, так как я сам отказываюсь от **всего своего**.

Верно ли, что я сам отказываюсь? Могу ли я сам отказаться от чего бы то ни было? Что значит я сам? Не Христос ли жизнь вечная?

Во сне я говорил моему собеседнику, что Э. Л. Р., который был где-то рядом и еще не очень старый, дожил до преклонного возраста. Но затем подумал: как я докажу ему это, ведь сейчас, во сне, Э. Л. еще не умер, а через десять лет умрет. Сейчас во сне я вернулся на десять лет назад, но ведь я могу выйти из сна, а мой собеседник не может.

Я перестал доказывать, потому что понял, что мой собеседник не сможет мне поверить, раз он не может выйти за пределы сна.

Так бывает и наяву. Мы говорим на разных языках. Собеседник спит и не может выйти из сна.

Я наполняю три банки и не могу наполнить, потому что должен их напол-

нить в определенном порядке, а они при наполнении меняют свои номера.

Пусть одна из банок будет первой и чистой, тогда следующая будет первой, а последняя чистой, так как в моем распоряжении только два имени: первая и чистая. Но давая названия, я уже должен иметь их, поэтому вторая или третья будет первой. Но тогда название второй или третьей банки принадлежит первой, и первая будет первой. Таким образом, как только скажу: первая банка, она уже не будет первой. Банка здесь вместо — субстанция.

К моей старой палке приклеена ручка в виде головы, а на голове шляпа. — Ну, — думаю, — за шляпу держать неудобно, — снимаю ее. Кладу руку на голову и отдергиваю ее — голова горячая — противно. Она кланяется и протягивает мне руки.

Чудо, спасаясь от властей, бежало, и я скрыл его.

Похороны. Гроб пустой. Впереди несут маску покойника. Сам покойник бежит, приседает, кривляется. Когда придут на кладбище, его придушат и похоронят.

Одна старушка на зло своим родственникам залезла в часы и там умерла.

Предстоит казнь — убийство. Действие происходит в клетке — в жизни. Должны убить человека. Абсолютно логично и точно доказана необходимость казни-убийства. Я вижу абсолютную бессмысленность этого убийства, но необходимость его доказана так точно, логично точно, что я не знаю, что сказать. Я не понимаю, не понимаю этого логично точного смысла —

---

(1973) и заметка о творчестве и личности Хармса (хранятся в ГПБ).

Еще до потери друзей, в 1934 году, внезапно умер отец — произошла первая катастрофа в жизни автора.

16 октября 1963 года он потерял горячо любимую мать. Этой датой имплицирована книга «Сон и явь», составленная им по дневниковым записям 1928—1963 годов.

Здесь публикуется глава из этой книги: «Сны».

Мною, на основании дневников, добавлен второй раздел «Снов», охватывающий годы 1963—1979.

Л. ДРУСКИНА

логично точной бессмыслицы. Надо предотвратить казнь-убийство человека, но как предотвратить, если необходимость казни логично точно доказана, бессмысленно логично точно.

И вот приближается момент казни. Наступает последний такт логично точной бессмыслицы, казнь неотвратима, между второй и третьей четвертью последнего такта она совершится, в третьей четверти последнего такта все будет уже свершено, и необратимо логически бессмысленное действие в клетке-жизни закончится.

Длинный коридор. Слева стена, справа комнаты, как номера в гостинице. Из последней комнаты никто никогда не выходит. Меня ведут в одну из этих комнат, говорят: «Здесь ты поправишься», и запирают. Я думаю, здесь я поправлюсь, и вдруг вспоминаю: — Но ведь это последняя комната, из нее никто, никогда не выходит<sup>1</sup>.

Мне снилось, напрасно я беспокоюсь о смерти; смерть не может наступить,

так как среди квадратов состояний нет ни одного пустого.

Я думал: пока я жив, гроб с моим телом лежит под землей, так как жизненная сила давит на него и не дает земле вытолкнуть его, но как только я умру, земля вытолкнет гроб наружу.

Сон о конце мира. Конец мира должен был произойти на каком-то озере. Там уже все было готово для этого и стоял пустой дом. Я думал, в нем можно спастись, но потом понял, что и он погибнет. Все же я нашел надежное место на озере. Находясь в этом месте, я не погибну при светопреставлении, но стану тучей или оттенком оттенка цвета тучи.

---

<sup>1</sup> Удивительное предчувствие собственной смерти: 22.1.80 Якова Семеновича из общей палаты (1 Мед. Ин-т) перевезли на каталке по длинному коридору в реанимационное отделение, дверь в которое была справа. Он скончался 24.1.80, а сон приснился в 1949 г. Л. Д.

Вадим РУДНЕВ

## КУЛЬТУРА И СОН

Сон не является реальностью, но — и это, пожалуй, самое интересное — сон не является и текстом. Ведь текст всегда материально зафиксирован в знаках. У сновидения такой фиксации нет. Сон довольно легко увидеть и эмоционально пережить, но почти невозможно адекватно передать знаковыми средствами. Между тем, как известно, состояние сна занимает треть нашей жизни. То есть две трети жизни мы проводим в сфере верифицируемой (проверяемой — или по крайней мере претендующей на это) реальности и целую треть в сфере совершенно непредсказуемых и логически индетерминированных иллюзий. Между тем известно также, что время сновидения движется в противоположную сторону по отно-

шению ко времени реальности, и уже это одно роднит сновидение с текстом. Известно описание в книге П. Флоренского «Столп и утверждение истины», как спящий слышит удар колокола, который одновременно является и началом пробуждения. То есть в момент удара колокола время сознания раздвоилось и потекло в противоположных направлениях.

Что же представляет собой сон в плане развиваемой нами теории?

Спящий видит сон и думает, что то, что он видит, суть явления реальности, хотя на самом деле это не так. Что это, как не модель эстетического переживания художественного произведения. Вспомним пример Г. Рейхенбаха, как зритель в финале фильма «Ромео и Джульетта» закричал, обращаясь к герою: «Остановись!». Вооб-

\* Фрагмент книги «Текст и реальность: введение в философию художественного высказывания» [в печати].

ще кинематограф и сон осознавались в начале XX века как весьма родственные явления: и там, и здесь была налицо фантазмагоричность, нейтрализация между семиотическим и бытовым, чувство «бессилия», по выражению из «Волшебной горы» Томаса Манна, от невозможности принять участие в происходящем<sup>2</sup>.

В состоянии сна нейтрализуются все оппозиции, характеризующие четкое разграничение текста и реальности. Впервые, во сне спящий одновременно может быть и автором, и участником, и зрителем, в то же время не являясь ни тем, ни другим, ни третьим. Как автор он создает сон, но не может в нем ничего изменить, как участник он воспринимает сон в качестве реальности, хотя это не есть реальность, как зритель он может смотреть на самого себя как автора и участника со стороны.

Таким образом, сон является феноменом сознания, двойственным с точки зрения протекающего в нем положительного или отрицательного времени, с точки зрения причинности и телеологии (целенаправленности).

Тем не менее сам феномен сна, его наличие в человеческой жизни приводит к еще большему парадоксу. Если человек во сне может думать, что он бодрствует, то ведь он, будрствуя, может думать, что он спит. И не существует никакой логической гарантии, что все происходящее со мной, пишущим эти строки, не происходит во сне. Нет никакой логической маркированности у сновидения, которая отличала бы его от реальности. И в этом смысле сон также играет большую роль при психологической и культурологической постановке проблемы жизни и смерти. Если жизнь есть сон, то тем самым смерть есть пробуждение от сна к истинной жизни. Это очень важный момент в китайской диалектике, в частности у Чжуан-цзы<sup>3</sup>. Сравним это также со сном князя Андрея Болконского в «Войне и мире» Л. Толстого, кстати во многом близкого по установкам китайской традиции:

«Он видел во сне, что лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. (...) Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запер-

еть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее, но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была поднята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде в нем связанной силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его. (...)

С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно сновидения».

Сравним это с размышлениями русского философа XX века Якова Семеновича Друскина из его книги «Сон и явь»:

«... Сон напоминает чтение книги, которой я настолько увлекся, что почти наглядно представляю себе то, что там происходит, отождествляю даже не с одним действующим лицом, а с несколькими. Что это за книга, которой я увлекаюсь во сне? Может, она интереснее и важнее того, что происходит наяву? (...)

Может, сон существует только в воспоминаниях сна? Может, это — некоторое первоначальное недифференцированное мгновенное состояние при столкновении двух реальностей: сонбодствование является мне как сновид-

дение? Тогда видим сон не во сне — когда спим, а наяву — когда просыпаемся, но еще не проснулись. Это рассуждение можно продолжить: может, и жизнь — только воспоминание на грани между жизнью и смертью, жизнью и другой жизнью?

Может, сон снится только в момент просыпания, и жизнь — только воспоминание при просыпании: смерти. То есть рождение той жизни и свершение этой сопровождаются воспоминанием, создающим эту жизнь»<sup>4</sup>.

Рассмотрим подробно, как трактуется феномен сна в знаменитой драме великого испанского драматурга дона Педро Кальдерона де ла Барки, которая так и называется «La Vida es sueño» («Жизнь — это сон») (пьеса написана в 1632—1633 гг.). Король Базилио заключает своего только что родившегося сына принца-наследника Сехисмундо в темницу, боясь исполнения предсказания о том, что принц свергнет его с престола и сделается тираном. Много лет Сехисмундо томится в тюрьме. Наконец король решается на рискованный эксперимент. Он выпускает царевича из темницы с тем, чтобы посмотреть, как тот будет вести себя, оказавшись на троне. Если новый король будет достойным правителем, то отец оставит ему царствование; если же новый король поведет себя жестоко, то он будет вновь посажен в темницу. При этом, когда царевича освобождают и дают ему трон, то мотивируют это тем, что вся его предшествующая жизнь лишь приснилась ему, но после этого предупреждают, что и его нынешнее царствование может также оказаться сном и он может вновь оказаться проснувшимся в темнице.

Сехисмундо на троне ведет себя как жестокий тиран и, вновь «проснувшись», оказывается в темнице. Реальность и сон окончательно путаются в его сознании:

Я спал,  
Я и сейчас не проснулся,  
Клотильдо! Я убежден,  
Что все еще вижу сон, —  
И верно, не обманулся.  
Если то, чего я коснулся,  
Только пригрелось мне,  
Наяву я грежу вдвойне.  
И я бы не удивился,  
Что сплю, когда пробудился,  
Раз жил я только во сне.  
(...)

Кто же захочет взойти на трон,

Зная, что должен проснуться он  
Только во сне смерти?

(...)

И каждый в мире собой обольщен,  
И каждый только лишь видит сон,  
И никто об этом не знает.  
Мне же снится, что много лет  
Я в железные цепи закован,  
А раньше снилось мне, что

очарован,

Видел я свободу и свет.

Что это жизнь? Это только бред.  
Что это жизнь? Это только стон,  
Это бешенство, это циклон,  
И лучшие дни страшны,  
Потому что они — это только сны  
И вся жизнь — это сон<sup>5</sup>.

Но вот царевича вторично освобождают. Теперь он становится мудрым королем, ибо знает, что все может оказаться сном и каждый раз он рискует вновь оказаться проснувшимся в темнице смерти:

Что дивит нас? Что изумляет,  
Если был мой наставник сон,  
И сильно я опасуюсь,  
Что вдруг проснусь, оказавшись  
Снова в глухой темнице?  
А если так не случится,  
То ведь присниться может.  
Что все то счастье людское

Проходит как будто сон... (с. 575).

Мотив сна — один из самых устойчивых в мировой литературе. Как фильм внутри фильма отражает иллюзорность обоих фильмов, как роман внутри романа запутывает читателя (где же кончается выдумка и начинается реальность), так и сон во сне это важнейшая мотивировка для самого повествования, ибо раз во сне с человеком может приключиться все что угодно, часто литературное произведение заканчивается тем, что герой просыпается.

Часто сон вводится в произведение как мотивировка эстетико-философская, говорящая, что жизнь не так проста, как кажется. В пьесе Генриха фон Клейста «Принц Гомбургский» завязка заключается в том, что героя, находящегося в сомнамбулическом состоянии, курфюрст увенчивает лаврами победителя сражения, а дочь курфюрста признается ему в любви. От того, что принц не понимает до конца, приснилось ли ему все это или происходило наяву; движется весь сюжет драмы.

Сновидение представляет собой результат особого измененного состоя-

ния сознания (парадоксальный сон, как называют его психологи), и в этом своем качестве феномен сна очень многое проясняет (или наоборот, запутывает). Дело в том, что люди иногда видят так называемые вещие сны, то есть во сне как бы заглядывают в свое будущее. Этому соответствует позиция автора по отношению к тексту, автора, способного видеть равным образом как прошлое, так и будущее. Во сне время становится многомерным, человек покидает свое тело, привязанное к обычному течению времени, и по одному из новых измерений устремляется в будущее<sup>6</sup>.

Очень часто поэтому в литературе сон — не иллюзия, а сверхреальность, проникновение в вечность за пределы времени.

В пророческом сновидении персонаж не только заглядывает в будущее сюжета, как Татьяна в «Евгении Онегине», но зачастую видит будущее всего человечества. Поэтому утопия очень часто замешана на сне, мотивирована им. Отсюда сны Веры Павловны и Раскольникова, Ганса Касторпа, смешного человека.

Кроме этой телеологической концепции сна, концепции сна как текста, существует детерминистическая кон-

цепция его как реальности, в свете которой сон это деформированное осознание прошлых поступков, вытесненных в подсознание. Отсюда в литературе не менее важный мотив сна как реализации вины героя. Таков сон господина Прохарчина, одного из самых загадочных героев Достоевского.

«Тут лысый человек: тоже, вероятно, несколько не замечая, что действует как призрак, а вовсе не наяву, показал ровно рушин с вершком от полу и, махнув рукой, в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию, затем с негодованием взглянул на Семена Ивановича, как будто бы именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро (...). Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто бы именно так вышло, что виноват не кто другой, как Семен Иванович».

Вспомним, что во сне человек часто находит потерянную вещь и решает не поддающуюся решению задачу. Одним словом, сон — из тех универсальных медиаторов между реальностью и текстом, которые играют столь важную роль в жизни человека и культуре и имя которым — миф.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Г. Рейхенбах. Направление времени. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962, с. 25.
2. Ю. Г. Цивьян. Движение «на» и движение «мимо» в раннем кино. — В кн.: Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1988, с. 120—138.
3. В. В. Малявин. Утцан-цзы. — М.: Наука, 1985.
4. Я. Друскин. Вблизи вестников / Сост. ред. и предисл. Г. Орлова. — Вашингтон, 1988, с. 27—28.
5. П. Кальдерон. Пьесы в 2-х т. / Пер с исп. И. Тыняновой. Т. I. — М.: Искусство, 1961, с. 537, 574.
6. J. W. Dunne. An Experiment with Time — 3-d ed. — London: Faber and Faber, 1934.

## НИКЛАВС СТРУНКЕ (1894—1966)

Латышский художник Н. Струнке умер в Риме. В этом, столь дорогом для него, городе по сей день находится его квартира-музей, а на надгробной плите по-латышски написано «Māksla ir mūžīga» (искусство вечно).

Никлавс Струнке родился в казармах польского герцога Гостинина, где служил его отец. Когда мальчик плакал, отцовский денщик играл на скрипке. Суровый казарменный быт и игра на скрипке на всю жизнь запали в душу будущего художника, подчеркивая особый контраст между жаром души и сдержанностью, между чистой первозданной красотой и безжалостной правдой жизни; но в его искусстве никогда латышское начало не вступало в противоречие с остальным миром.

Первая мировая война сроднила этого скитальца с Латвией, он сражался в рядах латышских стрелков. Но больше всего на свете он продолжал любить Рим, где учился с 1924 по 1927 год, где открывал для себя «чувство притягательной сущности пиний, сигарет и фонтанов». Видимо, в Латвии он часто ощущал себя, как грустный Пьеро на рисунке для журнала «Атпута» 1927 года, изображавшем латвийскую зиму. А современники вспоминают его невысоким, но чрезвычайно энергичным и вечно куда-то спешащим человеком, в полощащемся на ветру пальто, с развевающимися волосами.

Вторая мировая война разлучила этого скитальца с Латвией. После того как художник потерял родину, его полотна и рисунки утратили одному только Струнке присущую прелесть, и его работы приобрели истинно трагическое звучание. Он изображает своего любимого итальянского Пьеро обвитым колючей проволокой, стремится выразить отчаяние, охватывающее человека на чужбине, становится безродным бродягой. В одной из своих заметок он пишет: «Из-за своего, свойственного только беженцу образа мышления мы отстали и, застав в мещанском шовинизме, все носимся со своею беженской судьбой».

В конце прошлого года великий странник Никлавс Струнке на короткое время «пожаловал» из своего вечного города Рима к нам в Ригу, что духовно обогатило его народ и дало нам возможность снова увидеть одного из «самых латышских» по своему духу художников.

Эта выставка имела огромный успех. До недавнего времени картины Никлавса Струнке можно было увидеть в музеях Рима, Стокгольма и других городов Европы, а теперь и перед нами предстали прекрасные и в то же время трагичные свидетельства его творчества и скитаний.

Мы печатаем репродукции произведений именно с этой выставки.

## ВИД НА ЛИЕПАЮ ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Уважаемая редакция журнала «Даугава»!

Я участник Великой Отечественной войны, в том числе воевал и в Прибалтике в 1944 г. в составе войск 1-го Прибалтийского фронта. Не мог не возмутиться в связи с сообщением 3 декабря по программе «Служу Советскому Союзу» об уничтожении в Лиенае памятника воинам-освободителям и о сооружении другого памятника, увенчанного фашистской свастикой.

Наверное, можно быть обиженными националистами, бороться от «мнимого русского угнетения», за экономическую и политическую независимость, за культурное обособление. Все это как-то можно понять, но быть столь безнравственными, беспаятными, противопоставить себя не только нашему Союзу, но и всему миру, боровшемуся с фашистским порабощением, нормальные люди не могут. Это удел слепцов или вырождков.

Сегодня же я написал стихи, которые посылаю. Догадываюсь, что кроме мусорной корзины Вы их нигде не употребите, но хоть знайте мнение одного из бывших солдат Советской Армии, принесших Вам освобождение.

Б. П. РЕПИН,  
член Союза писателей СССР,  
г. Южно-Сахалинск

### В ЛИЕПАЕ

Там бились насмерть моряки,  
Там шла пехота в наступленье  
На пулеметы, на штыки,  
Чтобы пришло освобожденье.  
Там люди не жалели сил,  
И все по совести, по долгу . . .  
Зачем же ты теперь, подонок,  
Паучью свастику слепил  
Из праха, политого кровью  
Героев тех далеких лет,  
Наивно веривших в сыновью  
Любовь и преданность?

Их нет.

Нет совести там, в Лиенае,  
Как нет и тех, кто шел на бой.  
Ах если бы судьба слепая  
Не оказалась столь слепой . . .

### ОТ РЕДАКЦИИ:

Прежде всего мы благодарим бывшего солдата Советской Армии за то, что он принес нам освобождение. Мы не скажем ничего нового, заявив, что каждый человек, сражавшийся против фашизма, заслуживает самого высокого уваже-



ния своих сограждан, а те, кто непочтительно относится к памяти павших воинов, достойны самого сурового осуждения.

Теперь о стихах. Стихи, которые прислал Б. П. Репин, по своим литературным данным вряд ли заслуживают того, чтобы попасть на страницы журнала. Видимо, чутье его не подвело. Но мы все же напечатали стихи. И не потому, что автор бывший солдат или ныне член Союза писателей СССР. Мы напечатали их, чтобы показать, как легко человека может ввести в заблуждение то или иное сообщение — газеты, радио или телевидения и с какой легкостью некоторые авторы, не зная истинного положения вещей, обзывают подонками незнакомых людей и даже целые народы.

Работники Лиепайского горисполкома и горкома партии пояснили на страницах местной печати и по Латвийскому телевидению, что памятник защитникам города находился в аварийном состоянии. Его начали было ремонтировать, но выяснилось, что проще сделать новый. Памятник находится в работе и ко Дню Победы — 9 мая 1990 года будет восстановлен на прежнем месте. Таковы официальные пояснения городских властей, и у нас нет оснований им не верить.

Далее тов. Репин пишет о сооружении другого памятника, увенчанного «фашистской свастикой». По этому поводу можно с ним согласиться, но с двумя оговорками. «Сооружение памятника» действительно имело место. Но не после сноса памятника освободителям Лиепайи, как может показаться после прочтения письма, а еще в 1919 году. Это памятник воинам, павшим в боях за Латвийскую Республику. Вы, наверное, согласитесь, что в 1919 году еще не было гитлеровской Германии и ее фашистской символики. Знак, которым «увенчан памятник», это так называемый «огненный крест», одна из деталей латышского народного орнамента, пришедшая из глубин истории. Думается, далекие предки нынешних латышей тысячу или больше лет назад не могли знать, что Адольф Гитлер и его штурмовые отряды используют подобный знак (изменив его) в качестве своей символики.

Так что слова «можно быть обиженными националистами, бороться от мнимого русского угнетения» (так и написано Вами: от) тут, уважаемый тов. Репин, не очень-то к месту.

Лично я не смотрел 3 декабря передачу «Служу Советскому Союзу», в которой Вы почерпнули такую информацию. Но если в этой передаче сообщалось то, что Вы утверждаете в своем письме, нам остается лишь усомниться, служит ли эта передача Советскому Союзу.

**М. АФРЕМОВИЧ,**  
ветеран Великой Отечественной войны,  
участник боев за освобождение Латвии

## КАРТОТЕКУ НА ПАЛАЧЕЙ!

*Очень понравилось письмо в редакцию т. Гитлиц В. М. из г. Харькова, опубликованное в Вашем журнале под заголовком «Перед законом все равны?»*

*Мне, так же как и ему, непонятны действия нашего правительства в отношении нацистских преступников и аналогичных по действиям преступников, действовавших в нашей стране от имени партии, правительства, Советской власти и народа.*

*Когда-нибудь мы, может быть, и построим правовое государство, но сейчас журнал не в состоянии изменить положение дел в подходе к той категории лиц, которых мы вправе называть преступниками. Журнал в данный момент может только поставить проблему.*

*В связи с этим у меня есть такое предложение. Мы должны знать, кто был жертвой репрессий и кто был конкретным «винтом» преступной машины.*

*По первому вопросу какой-то ответ дает картотека Юрасова. Неплохо было бы иметь и картотеку на палачей, действовавших на территории Латвии.*

*Думаю, что вашему журналу это по силам.*

*С уважением  
Ю. ЗЕЙБАРТ,  
Сахалинская область*

## В РОСТОВЕ ЗАПРЕЩАЮТ

*Уважаемые товарищи!*

*Я подписчица трех прибалтийских журналов — «Даугавы», «Радуги», «Родника». В этом году мне не удалось подписаться ни на один из них. В почтовых отделениях Ростова-на-Дону мне заявили, что с 1 августа подписка на прибалтийские журналы запрещена. Кто бы мог дать столь нелепое распоряжение — местные ревнители идеологической незамутненности? Таковые из центра? Так или иначе, а я осталась без подписки на 90 год, без трех уважаемых и любимых мною журналов.*

*Т. НИКОЛАЕВА,  
преподаватель медицинского института,  
Ростов-на-Дону*

---

### ПОПРАВКА

**В № 1 «Даугавы» за 1990 г. на с. 99 в левой колонке выпущена десятая снизу строка. Текст следует читать: «... грамматический, лексический, синтаксический, семантический».**

---

**Авторы снимков в тексте: Мара Брашмане, Харийс Бурмейстарс, С. Григорьев, Юрий Куприянов, Александр Лыжин.**

---

Обложка художника  
Андрея КАЛНАЧА.

Сдано в набор 29.12.89.  
Подписано к печати 29.01.90. ЯТ 00107.  
Формат 60×90/16. Книжно-журнальная бумага № 1,  
мелованная бумага. Офсетная печать.  
Обложка и вклейки — высокая печать.  
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,86 усл. кр.-отт.,  
11,78 уч.-изд. л. Тираж 100 000.  
Заказ № 2307. Цена 45 коп.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,  
Баласта дамбис, 3.  
Телефоны: гл. редактор 466049,  
зам. гл. редактора 465913,  
отв. секретарь 465996,  
отд. прозы и критики 465992,  
отд. поэзии 465998,  
отд. публицистики 465990,  
техн. секретарь 465993.

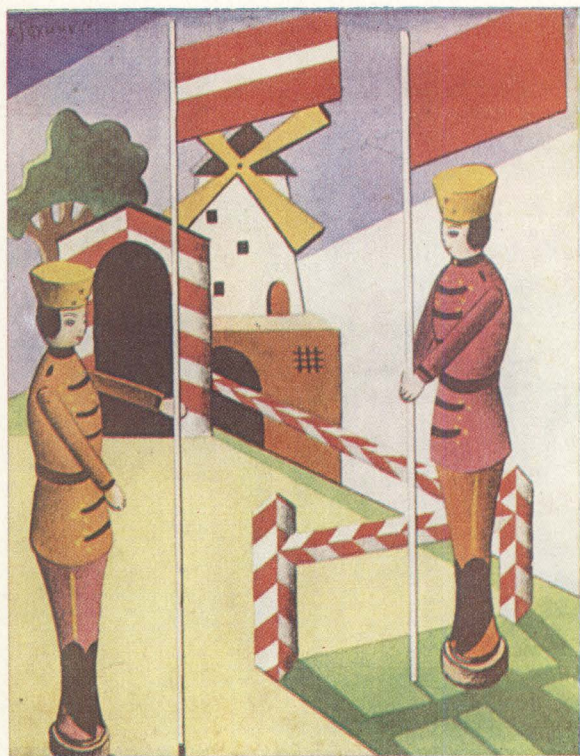
Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,  
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

**НИКЛАВС СТРУНКЕ**



**Пленник  
всемирной  
войны**



Игрушки

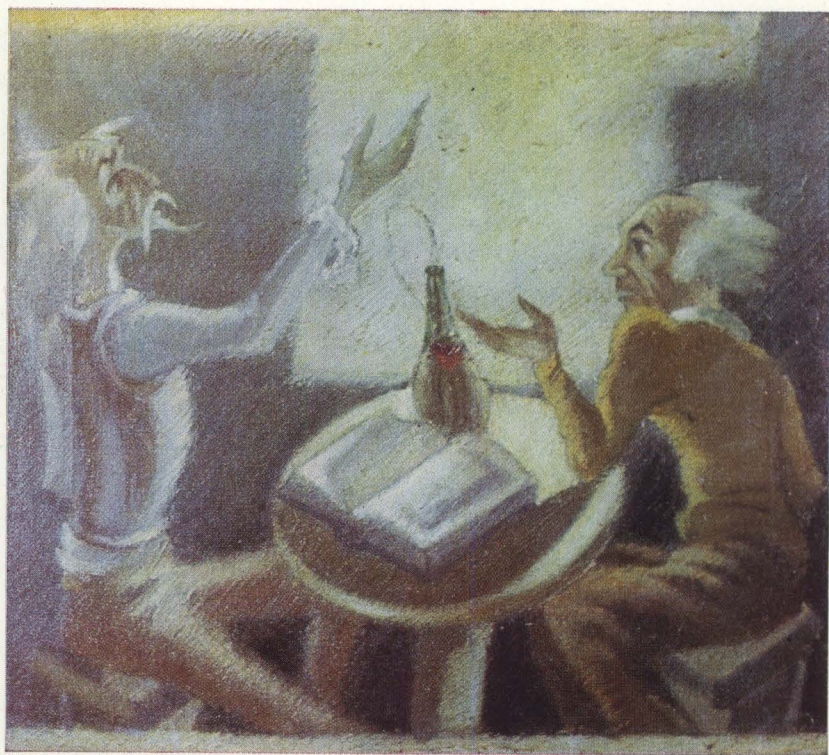


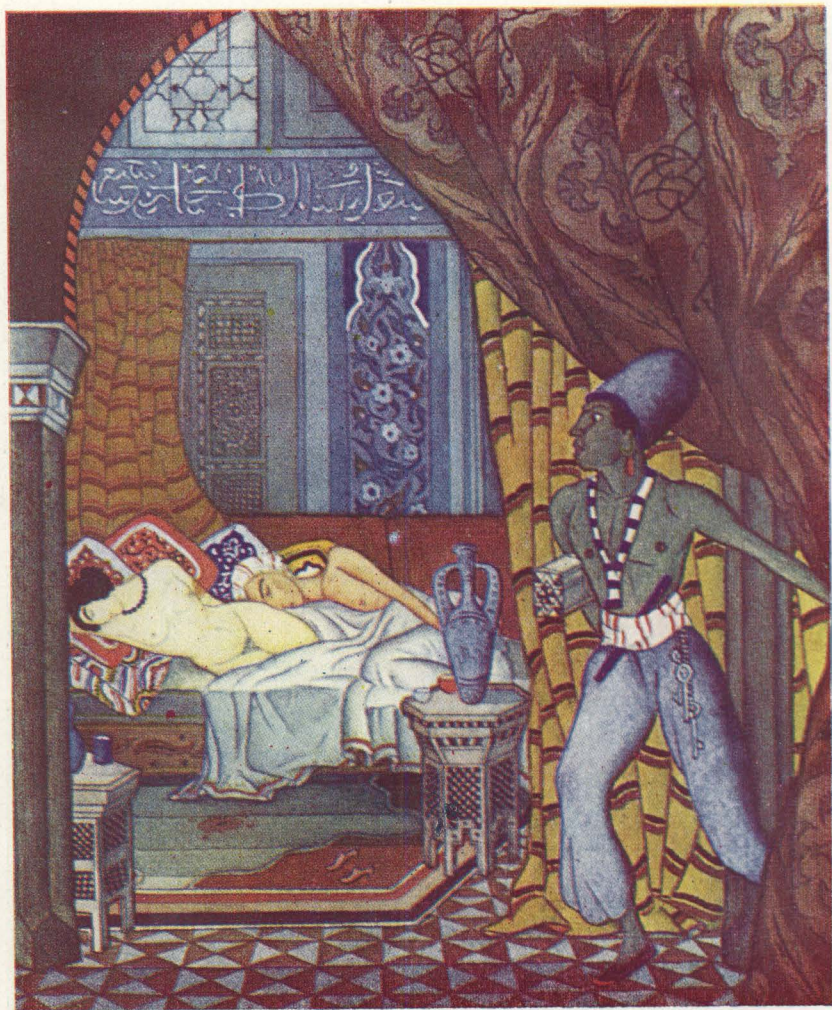
Пьеро зимой



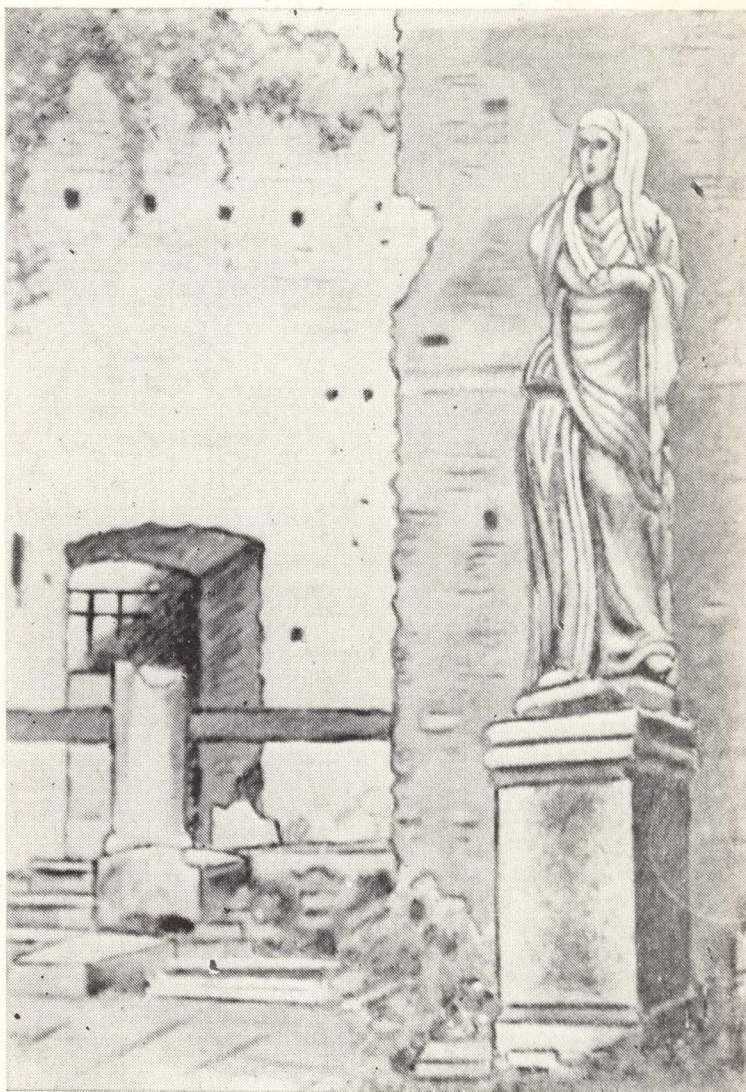
Автопортрет  
с Дон Кихотом

Комедия масок





Сказки  
1001 ночи.  
Фото  
Мары Брашмане



Никлавс Струнке.  
Римский Форум. Храм Весты.  
Фото  
Хария Бурмейстара

45 КОП.

ИНДЕКС 77123

